

A close-up, monochromatic portrait of a man with glasses, looking slightly to the right. The image is dark and has a grainy texture. The text is overlaid on the left side of the image.

ЛЕМ

ЖИЗНЬ
НА ДРУГОЙ
ЗЕМЛЕ

ВОЙЦЕХ ОРЛИНСКИЙ

LEM

ŻYCIE
NIE Z TEJ
ZIEMI

Войцех Орлинский
Лем. Жизнь на другой Земле

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.162.1.09
ББК 83.3(4Пол)-8

Орлинский В.

Лем. Жизнь на другой Земле / В. Орлинский — «Эксмо», 2017

«Лем. Жизнь на другой Земле» – первая польская биография. Пользуясь ранее неопубликованными источниками, Орлинский раскрывает большие и маленькие, серьезные и забавные секреты жизни писателя. Как Лем пережил Холокост? Верил ли он когда-нибудь в коммунизм? На что потратил свой гонорар за «Магелланово облако»? Сколько раз Лем ездил в СССР? Почему Лем назвал Тарковского дураком? Как дружба с Филипом К. Диком переросла в ненависть? Чем отличались рукописи романов «Глас Господа», «Фиаско» и «Футурологический конгресс» от опубликованных вариантов? Что такое на самом деле «сепулька»?

УДК 821.162.1.09

ББК 83.3(4Пол)-8

© Орлинский В., 2017

© Эксмо, 2017

Содержание

Пролог	6
I	10
II	27
III	53
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Войцех Орлинский

Лем. Жизнь на другой Земле

Wojciech Orliński

LEM. ŻYCIE NIE Z TEJ ZIEMI

Copyright © by Wojciech Orliński, 2017

© by Wojciech Orliński, 2017

© И. Шевченко, перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

«Как будто я жил тогда на другой Земле, среди других людей...»

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

«Возвращение с Земли»

Пролог

*Feci, quod potui*¹

Четыре утра, а скорее ночи. До рассвета ещё несколько долгих часов. Клины, далёкое предместье Кракова, скорее деревня, чем город, ещё спит. Ни одна собака не гавкает, ни один петух не кукарекает, ни одна корова не мычит.

Ни одна машина не едет. Пока соседи не начнут махать лопатами, никто не пройдёт, потому что ночью выпал снег. Единственная дорога связывает эти несколько домиков с цивилизацией – на карте города она громко именуется улицей, но на самом деле это просто просёлочная дорога, ответвление от трассы из Закопане – в данное время полностью непроездная.

Станиславу Лему это совсем не мешает. Он никуда не собирается, по крайней мере физически. Но через мгновение в воображении он воспарит к звёздам, потому что эти несколько часов до рассвета, когда все домашние ещё спят, его любимое время для творчества. Воображению не мешают заснеженные дороги.

Сейчас его ждёт первое действие этого дня – растопка печи. Лем выскальзывает из своей комнаты на втором этаже. По терразитовым ступеням он спускается на первый этаж, где в своей комнате спит тёща, а в столовой на разложенном кресле спит девушка из деревни, которая в доме Лемов готовит и убирает. Если настоять, то можно было ей поручить растопку коксовой печи. Для этого действительно нужна мужская сила, но этим девушкам, нанятым в деревнях под Краковом, благодаря невероятному количеству родственников и знакомых его тёщи, может не хватать чего угодно, но только не физической силы.

Кроме того, поручать ещё одну обязанность для девушки было бы рискованным: она могла попросту уйти, как и её предшественницы. Семья не может позволить себе платить ей достаточно много, чтобы удержать на дольше. В конце концов, все они находят себе где-то в Кракове лучшую работу и поиски приходится начинать сначала. Их текучка такая быстрая, что Лем даже не хочет запоминать имена очередных девушек.

Есть ещё два повода, по которым Станислав Лем охотно берёт на себя обязанности по разжиганию центрального отопления в собственном доме. Во-первых, ему сорок. В этом возрасте мужчина охотно хватается за «мужские» задания в предчувствии, что это последнее десятилетие в его жизни, когда он ещё может свободно это сделать. Предчувствует, что близится то время, когда он не будет для семьи тем сильным, эффективным переносчиком тяжестей и универсальным решателем проблем, а сам станет проблемой и бременем. И он хочет насладиться каждым днём физической силы.

Во-вторых, уже какое-то время Барбара Лем, заботясь о его состоянии, старается, чтобы её муж похудел. Прибегает к различным методам: поощряет физические нагрузки и ограничивает его в еде.

Станислав Лем не спорит. Он не сомневается в необходимости похудеть. На самом деле, у него нет диплома, но он окончил медицинский так же, как и его жена, которая часто повторяет, что Сташек, несмотря на отсутствие диплома, знает о медицине больше, чем она. И это не обычная любезность, Лем маниакально постоянно что-то читает, и в том числе медицинскую литературу.

Короче говоря, он сам хорошо знает, чем грозит ему лишний вес. Потому, когда на обеде вся семья ест второе блюдо, он довольствуется только супом. Мозг и сердце говорят ему слу-

¹ Первая часть латинского выражения: *Feci, quod potui, faciant meliora potentes* – Я сделал всё, что мог, пусть те, кто сможет, сделают лучше. – *Прим. пер.*

шать семью, но желудок – это орган, который руководствуется собственными правилами. И это именно он вырывает Лема из сна.

Ступени в подвал ещё не облицованы. Станислав Лем спускается во мрак по голому бетону. Он толкает крепкие двери, сбитые из досок и закреплённые тремя балками, образующими букву «z». Он включает свет, но его первые шаги не к котлу. Он поворачивает в гараж.

В багажнике лежат покупки, которые он сделал вчера в Кракове, в своём любимом «овощном» на улице Долгой, когда кружил по городу, ожидая, пока жена закончит работу и они вернутся домой на святое обеденное время (тринадцать тридцать, как и каждый день). Лем, как обычно, до этого времени управлялся с разными делами – от шопинга до чтения международной прессы в отелях.

Вчера в «овощном» он купил два отличных немецких марципановых батончика. На самом деле, ему нельзя их есть, но никто не видит, все ещё спят. Лем поспешно съедает их и направляется из гаража в кладовку. Он прячет обёртки за шкафом, который закреплён у стены, поэтому никто никогда не раскроет его диетической трансгрессии, безупречного сладкого преступления.

На мгновение он задумывается о том, каким абсурдным является покупка сладостей в «овощном», который в теории должен продавать овощи и фрукты. Это как поехать в банк, чтобы купить машину, или в отель, чтобы купить «Геральд»? И в таких абсурдах проходят дни Лема.

Может, сделать из этого сатирический рассказ? О какой-то планете, на которой Ийон Тихий пытается делать покупки в слегка завуалированном мире коммунистических абсурдов? А может, это не должна быть планета? Время от времени на карте мира появляется какое-то новое государство в рамках деколонизации – может, сделать из этого вымышленную страну где-то в Азии или Африке?

Однако эта мысль быстро улетучивается из головы Лема. Нужно наконец сделать то, зачем сюда пришёл. Он выгребаёт из котла лопатой вчерашнюю золу и пепел. Около дверей он набрасывает плащ и обувает резиновые сапоги – он выглядит сейчас как Франек Ёлас из Нижних Мычисок, а не краковский писатель – и продирается через свежие сугробы к калитке.

Он высыпает пепел на дорогу и, продрогший, возвращается домой. В котельной он обнаруживает, что кокс как всегда замёрз (помещение влажное и не обогревается) и его не удаётся набрать на лопату.

Он берёт широкое долото, свой основной инструмент труда, как кочегар, шутливо описанный в «Седьмом путешествии Ийона Тихого». Это специальный кованный прут. Тихий мешал им в атомном котле (а также сражался им сам с собой во временной петле за то, кто съест последнюю припрятанную плитку шоколада – четверговый Тихий, пятничный Тихий или, может, самый опасный из них всех, потому что самый опытный, воскресный Тихий). Лем разбивает прутом замёрзшие глыбы кокса и угля. Очевидно, как Тихий, он бы тоже героически сражался за запасы в кладовой, даже сам с собой. В каком-то смысле он каждый день это и делал.

Бах! Бах! Бах! Печь ещё не затоплена, но писатель уже разогрелся. Он засыпает раздробленный шлак, тянется за канистрой с бензином, брызгает на чёрные комья. Щёлкает зажигалкой.

Бум!

Бензина, как обычно, он льёт слишком много. Он всегда ругает себя за расточительство, но это как со сладостями, это сильнее его. Батончик и взрыв, разве можно более приятно начать трудовой день?

Лем греет руки возле гудящей печи. Как только он вернётся в свою комнату, сразу же сядет за машинку. У него есть ещё три часа спокойного времени, потом весь дом проснётся и снова нужно будет ехать в Краков.

О чём сегодня... Поднимаясь по ступеням, Лем думает о недавно прочитанной статье – она так его поразила, что он даже не помнит, где именно прочитал её – в «Геральде» или «Ньюсуике»? – про то, что американское правительство заказало в *RAND Corporation* проект сети связи, узлами которой будут компьютеры.

Компьютер уже не как самостоятельный электронный мозг, а как коммуникативное устройство! Как обычно, то, над чем работают настоящие инженеры, является интереснее, чем вымысел фантастов. За ближайшие полвека цивилизация полностью изменится – медиа, отношения между людьми, стиль работы. Почему никто о таких вещах не пишет?

Вчера Станислав Лем говорил об этом Яну Блоньскому, когда тот пришёл с традиционным вечерним визитом. Разговор, как обычно, начался достаточно мило, Блоньский говорил о Прусте, Лем – о компьютерной сети, но вскоре разговор перешёл в скандал, потому что Блоньский упрямо не хотел признавать, что вопрос о том, как компьютеры изменяют цивилизацию, важнее, чем вопрос о том, как Прусту удалось передать сущность человеческой природы на страницах «В поисках утраченного времени».

Какую люди могут иметь «сущность природы», когда скоро начнут вмешиваться в генетический код, а уже сейчас можно изменить свою сущность, например используя наркотики? Естественно, чем отчётливее были железобетонные неопровержимые аргументы Лема, тем сильнее Блоньский повышал голос.

Хозяйка дома, пытаясь предотвратить скандал, изменила тему на что-то нейтральное и общее для обоих литераторов: перспективы газификации, а также асфальтирование улицы, которая при хорошей погоде соединяет их предместье с Краковом, а при плохой – эффективно отделяет. Блоньский, однако, вместо того чтобы радоваться прогрессу, начал огорчаться по поводу того, сколько ему будет стоить газовое оборудование и откуда он на это возьмёт деньги.

«Может, это было и нехорошо с моей стороны, – подумал Лем, – что я ответил, что, тьфу, мне хватит написать два рассказа и я установлю газовое оборудование, но Блоньский всё равно не должен был так реагировать!» Он взорвался, встал, начал махать руками и сказал, что думает о творчестве хозяина дома – это обычная чепуха, написанная только для денег, которая никогда, никогда не будет причислена к канонам польской литературы.

«Об этом мог бы и промолчать, мой так называемый друг», – подумал Лем, садясь за печатную машинку.

Последнее предложение звучит так забавно, что в последнюю минуту писатель меняет планы. Он вложил его в кибернетические уста Трурля, литературного героя, написание которого доставляет ему много радости. Трурль – робот, конструирующий других роботов. Его сосед Клапауций занимается вроде бы тем же самым, но это их единственная общая черта.

«Интересно, Блоньский когда-нибудь поймёт, что чем больше он пытается меня задеть, тем больше у меня идей для описания споров Трурля и Клапауция?» – думает Лем и сразу же себе отвечает. Ни один полонист не относится к фантастической литературе серьёзно. И это хорошо, поскольку автор может себе позволить всё, и на его произведения не обратят внимание ни критики, ни цензоры.

А Трурль и Клапауций в следующих рассказах борются против самых разных угнетающих их тиранов, разных Жестокусов, Свирепусов и Мандрильоных. Аллюзии всё более очевидные, но цензура это пропускает, хотя где-нигде и было за что прицепиться. Довольный выходкой, которой он оплачивает в следующем рассказе своему самому близкому другу и всему миру, Лем начинает стучать по кнопкам.

Мерный стук машинки наполняет весь дом. Домашние даже если и просыпаются, то только для того, чтобы перевернуться на другой бок, зная, что сейчас только четыре утра и у них ещё есть пару часов на сон. Они привыкли спать в таком шуме, скорее их обеспокоила бы тишина.

* * *

Самое время, чтобы изложивший эту историю всезнающий рассказчик разоблачил себя. Где-то в первой половине шестидесятых, когда Лем создавал свои самые важные произведения, действительно могло случиться такое утро. Я составил его из реальных моментов – но я не знаю, произошло ли это. Не знаю, действительно ли прут из котельной стал образцом арматуры из «Седьмого путешествия» и спор Лема с Блоньским о техническом прогрессе стал вдохновением для перепалки Трурля (энтузиаста) с Клапауцием (скептиком).

На основании собранных материалов мне кажется, что это вполне правдоподобно, но у меня нет доказательств. Нет подтверждений даже тому, действительно ли Лем украдкой поедал сладости в подвале. Известно только, что во время капитального ремонта того подвала из-за шкафа высыпалась куча обёрток, изготовленных в шестидесятых и семидесятых годах, но ни один уважающий себя суд не обвинил бы осуждённого на основе таких скудных доказательств. Никто Лема за руку не поймал.

Частым явлением среди биографов является поддержание всего повествования в подобной условности. Автор пишет с позиции всезнающего рассказчика. Он всё знает про своего героя, но не всегда известно откуда.

Я так не сделаю. Единственная история, какую я могу вам рассказать честно, это моя история: современного журналиста, который пытается воссоздать жизнь Станислава Лема на основе доступных материалов.

Казалось бы, что тот, кто поддерживал богатую переписку, кто к тому же написал автобиографическую книгу и дал кучу интервью, не имеет никаких тайн. Я же нашёл их множество. Будущие адепты «лемологии, лемографии и лемономики описательной, сравнительной и прогностической», возможно, выяснят их, но я должен уже тут в самом начале признать поражение, и хотя бы поэтому мне не надлежит дальше писать в нейтральном третьем лице.

Буду писать, что мне известно, а не «как это было». Потому что в реальности неизвестно, кто ел украдкой сладости и марципаны в том подвале. Может, пришельцы? В случае этой конкретной биографии этого не стоит исключать...

I

Высокий Замок

В детстве меня волновали вопросы типа «Как устроен атом?». Такое встречается часто среди будущих и теперешних любителей прозы Станислава Лема.

Никогда не забуду шок, который ощутил из-за сообщения, что атом главным образом состоит из пустоты. Посредине ядро, которое в сто тысяч раз меньше самого атома. Вокруг ядра кружат электроны, в десятки раз меньше ядра. Между ядром и электронами ничего нет. По крайней мере, ничего материального.

Когда позднее, в институте, я узнал про квантовую теорию, то стал больше уважать пустоту. Я понял, что с ней так же как с драконами из рассказа Лема «Вероятностные драконы», драконов, как известно, не существует, но их различные виды не существуют по-разному.

Однако тогда я был взволнован тем, что атом состоит из одной части «чего-то» и из ста тысяч частей «ничего». Что за шокирующая пропорция! А поскольку вся материя состоит из атомов, то это означает, что хотя она на первый взгляд твёрдая и осязаемая, но в подавляющем большинстве тоже «пустота».

Так же я вижу детство Станислава Лема. У нас есть автобиографичная книга про его детство «Высокий Замок», две книги типа «интервью-река» (Станислава Береса и Томаша Фиалковского), полные восхитительных анекдотов про коллег и родственников, про игрушки и лакомства. Есть, наконец, крохи воспоминаний в разных больших и маленьких публицистических текстах.

Но если присмотреться к этому более внимательно, то автор больше прячет, чем открывает. То, чего в этих воспоминаниях нет, важнее, чем то, что в них есть. Как и атомы, воспоминания Лема состоят в основном из пустоты, но я постараюсь сделать из неё то, что с атомами сделали квантовые физики.

Обратим внимание на то, что чем ближе мы в этих воспоминаниях к маленькому Станиславу Лему, тем сильнее всё делается неосязаемым и нереальным. Чем дальше кто-то был от Станислава Лема, тем более чёткое он имел описание. Учителя в гимназии, например, названы по фамилиям, чаще всего даже по именам, но самое важное то, что описываются они очень подробно, иногда на целую страницу.

Например, мы узнаем, что директор Станислав Бузат был «невысокий мужчина, обладавший зычным, властным голосом, впрочем, очень хороший человек»², а профессор латыни Раппапорт «старый, болезненный, с желтоватым лицом, брюзгливый, но довольно мягкий». Математиком был украинец Зарицкий, «представительный мужчина лет пятидесяти со смуглой, даже тёмной, морщинистой кожей, ещё более тёмными веками, острым неправильным носом, глубоко сидящими глазами, лысый, как колено, – но старательно брил весь череп. [...] Никогда не улыбался»³.

Много внимания Лем уделяет полонистке Марии Левицкой, у которой всегда был отличником. Она хвалила его сочинения, особенно те, что писались на «вольную тему». После войны он искал её и благодаря другой выпускнице добрался до её тетрадей со стихами «совсем не модными, написанными в наивысших эмоциональных вибрациях»⁴.

Одноклассники описаны без фамилий, но так детально, что мы без труда можем их себе представить. У Лема было два соседа по парте. Первым был Юлек Х., «сын полицейского,

² Здесь и далее цитаты из «Высокого Замка» приведены в переводе Е. Вайсброта.

³ Цитаты из прозы Станислава Лема подаются на основании описанных в Библиографии (если не указано другое).

⁴ Stanisław Lem, *Powrót do prajęzyka? w: tegoż, Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

довольно крупный парень, блондин со вздёрнутым носом и выражением неуверенности в глазах». Он дал Лему настоящий, однозарядный пистолет калибра 6 мм, в обмен на пугач-«браунинг» калибра 9 мм, который владельцу «надоел». Лем выстрелил из него в доме, чем перепугал отца, который сразу же конфисковал оружие.

Вторым соседом по парте был Юрек Г., «красивый и влюбчивый». Однако Лем помнил его любовные романы, а не его самого. Больше он пишет про «Мечика П.», отличавшегося «тяжеловесной шуткой и ещё более тяжёлой рукой. Когда его вызывали, он обычно начинал разыгрывать из себя идиота, стараясь делать это так, чтобы было ясно, что он издевается над преподавателем». Мечик был вульгарным, поэтому Лему он не нравился. Зато он любил Юзека Ф., «у которого усы начали расти, почитай, чуть ли не с первого класса гимназии», а также Зигмунда Е. по прозвищу Пуньча, отличного футболиста, который происходил из бедной семьи, поэтому в гимназии держался благодаря репетиторству.

Услугами репетиторов пользовался и сам Лем и описывает их довольно детально, прежде всего учительницу французского, «некую Мадемуазель – особу, достаточно неприятную, обладавшую огромным пористым, словно его рассматривали под увеличительным стеклом, красным носом». Лем не хотел учить французский, поэтому придумал для Мадемуазель хороший способ, подобно героям «Средства от Алкивиада» Эдмунда Низюрского.

Мадемуазель очень любила сплетни про то, кто женился, кто развёлся. Лем рассказывал ей выдуманные истории про своих бесчисленных дядей и тётъ, одновременно угощая её коктейлями собственного изготовления из алкоголя, украденного из буфета матери. «Совершенно удивительно, что после всего этого я ухитрюсь прочесть книжку на языке Мольера», – говорит Лем.

Также подробно описаны и другие неродственные особы, с которыми Лем сталкивался в родном доме, – прачка, швея, горничная, кухарка. Но если сделаем шаг в сторону писателя и начнём исследовать его родных, образ размывается.

В «Высоком Замке» и в других мемуарных текстах неоднократно появляются дяди и тётки, но они редко имеют имена, редко имеют черты характера. Часто Лем описывает их во множественном числе, как дядей и тётъ, – мы даже не знаем, сколько их было и какое родство их связывало. Опираясь только на воспоминания Лема, нельзя даже составить их список.

Имена есть у «кузена Метека» (с которым Сташек подрался из-за необычного оскорбления в форме «показа босой пятки»), у «тёти Ньюни», а также «дяди Мундека, мужа тёти Хани с улицы Свободы» (который с отцом увлечённо пытался извлечь далёкие голоса из радиоприёмника марки «Эрикссон», но до них доносились только «мощный свист, грохот и мяуканье электрических кошек»).

Имени нет и у «тётки с улицы Ягеллонской», но мы узнаем из «Высокого Замка», что у неё возле дома маленького Сташека сильно напугал агрессивный индюк, и кроме того, тётка имела «eine feine Stube», то есть эlegantный салон, куда нельзя было заходить, полный декоративной посуды и вкусоностей, предназначенных исключительно для декорации. Мальчик принял этот запрет как вызов, прокрался в салон при первой же возможности и вонзил зубы в марципановые фрукты, но со временем марципан окаменел и стал непригодным для еды. Было это «одно из самых горьких разочарований [его] жизни».

Тётка получила имя лишь через тридцать лет после публикации «Высокого Замка». В интервью Томашу Фиалковскому Лем рассказывал, что тётку звали Берта и она была матерью Марьяна Гемара. В шестидесятых годах XX века рассказывать про Гемара не имело смысла, цензура всё равно бы убрала его из книги (или книгу вообще бы не издали).

Картинка становится совсем размытой, когда мы делаем шаг в сторону ядра этого атома, когда присматриваемся к двум самым близким людям маленького Сташека – его родителям. Учителей, одноклассников, репетиторов, продавцов, прачек и кухарок мы можем себе представить на основании этих воспоминаний. Мы знаем, какой у них был голос и как они выгля-

дели. Но какой голос был у отца? Как выглядела мама? И как их вообще звали? Этого нет ни в «Высоком Замке», ни в поздних мемуарах. О матери мы, собственно, знаем только то, что она существовала. Как хтоническое божество в античной мифологии, она не играет сюжетную роль в мифологическом повествовании, потому что всегда молчаливо присутствует на заднем плане и олицетворяет всё материальное. Зато отец является олимпийским богом, сверхъестественным владыкой, который иногда присылал маленькому Сташеку щедрые подарки, а иногда выдавал непонятные запреты. Трудно себе представить их на основании таких описаний, как людей из крови и плоти.

Оставим эти метафоры и напишем, что про родителей Лема точно известно. Самюэль Лем и Сабина из семьи Вольнер поженились 30 мая 1919 года⁵. Имя отца уже объясняет, почему Станислав Лем так сильно юлил в этом вопросе – всю жизнь он избегал разговоров про свои еврейские корни.

Самюэль Лем где-то с 1904 года⁶ пользовался польской версией фамилии, но его родственники до самой войны подписывались фамилией «Лехм». Время от времени он использовал старое правописание, скорее всего чтобы не было расхождения в документах.

Лемов и Лехмов до 1939 года во Львове проживало много. У Герша или Германа Лехма, отца Самюэля, было семеро братьев и сестёр⁷, что практически исключает установление личности всех «дядей и тётъ» из «Высокого Замка», тем более что, как я подозреваю, часть из них некровные «друзья семьи». Однако известно, что они отличались своим подходом к вопросу ассимиляции. Некоторые из них придерживались еврейской самоидентификации, другие же считали себя поляками еврейского происхождения, хотя бы как, собственно, и Самюэль Лем, о чем свидетельствует выбор имени для первенца.

Станислав! Почему не Адам, Ян или Пётр? Почему это должно было быть имя, которое наряду с Войцехом или Ядвигой однозначно приписывали к Центрально-Восточной Европе, даже после замены на западный эквивалент? Это был не случайный выбор, это было свидетельство польскости.

Австро-венгерский военный врач, каким был Самюэль Лем, в 1918 году вынужден был предстать перед широким выбором. В мирные времена и при относительной стабильности национальность и гражданство трактовались как что-то постоянное, но для жителей Центрально-Восточной Европы сто лет назад было совсем не так. Их страны в результате войны рассыпались, как карточный домик. Их паспорта со дня на день утрачивали свою правомочность. Все *nolens volens*⁸ сделали выбор, и часто, из-за отсутствия объективных критериев, этот выбор был произвольным.

Об этом свидетельствует выбор братьев Шептицких. Один из них, Андрей, митрополит, вошёл в историю как духовный лидер украинцев. Его родной брат Станислав остался в памяти как польский генерал, который защищал Вильнюс от большевиков. Вероятно, несколькими годами ранее братьев Шептицких позабавило бы такое пророчество, что они войдут в историю враждующих между собой народов.

В моем поколении много говорилось о том, как наши родители или родственники стояли перед похожим выбором в 1918 или 1945 годах. Часто это сопровождалось упрёками со стороны предков, которые из всех паспортов, какие могли выбрать, останавливались именно на польских!

⁵ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

⁶ Об этом свидетельствует документ, который хранится в семейном архиве, – нотариально заверенная выписка, составленная в 1953 году из свидетельства австро-венгерского еврейского ЗАГСа во Львове; выписка подтверждает, что «фамилия звучит как Лем, а не Лехм».

⁷ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy... op. cit.*

⁸ Волей-неволей (*лат.*).

Много семей имели семейную легенду про тётю или дядю, которых военная неразбериха закинула на Запад. Иногда они приезжали, одетые в твид и пахнущие «Old Spice», практически каждой мелочью давая понять, что они прибыли из другого, лучшего мира. Они великодушно давали нам несколько долларов или западнонемецких марок, которые для нас были кладом, потому что мы знали, что в специализированных магазинах можно за них купить необычные деликатесы – «7UP», жевательную резинку «Wrigley Spearmint» или даже (ах!) баночку «Nutella».

А у кого не было такого родственника, тот о таком фантазировал. Это было уделом и взрослого Станислава Лема. Он услышал от отца сплетню, что какой-то родственник опозорил семью и вынужден был эмигрировать в США. Оттуда Станислав Лем всегда ждал телеграмму про щедрое американское наследство и надоедал этим своей жене или ближайшему окружению, самокритично признавая, что «это было почти наваждением»⁹.

После Первой мировой мало кто ожидал близкого приближения Второй мировой. После Второй, в свою очередь, все ожидали Третью, которая (постучим по дереву) все ещё не пришла. Из этого следует, что детский опыт поколения Станислава Лема радикально отличается от моего и, как я думаю, большинства его поклонников из Польской Народной Республики. Меня воспитывали на чувстве временности всего, что нас окружает. Школа, семья и поп-культура заставляли меня ждать очередную войну или революцию, в которых снова всё пойдёт прахом, как уже дважды было в этом столетии.

Лема воспитывали с чувством «железобетонного, нерушимого порядка», как он говорил в интервью Фиалковскому. В первые восемнадцать лет для него было очевидно, что ему повезло родиться и жить в самом чудесном городе мира. Другие города он не видел, и, похоже, они его не особо интересовали. Ведь, зная слабость отца потакать всем прихотям сына, можно предположить, что, если бы маленький Сташек прогрыз ему дырку в голове, в конце концов он поехал бы с ним в Краков или Варшаву. Между тем отец не пустил его даже на школьную экскурсию в Париж, аргументируя это тем, что такое дальнейшее путешествие было бы опасным.

Однако всё это заставляет меня с большой долей скептицизма читать, например, такой отрывок из «Высокого Замка»:

«Я действительно нигде не видел кондитерских витрин, сделанных с таким размахом. Собственно, это была не витрина, а сцена, оправленная в металлические рамы, на которой несколько раз в году сменяли декорацию, образующую фон для гигантских статуй и аллегорических композиций из марципана. Какие-то великие натуралисты, а может, Рубенсы воплощали в марципановой яви свои мечты, а уж перед Рождеством и Пасхой за стёклами творились закованные в миндальную массу и какао чудеса. Сахарные Миколаи правили упряжками, а из их мешков низвергались водопады сладостей: на глазированных тарелках почивали ветчина и заливная рыба – тоже марципановые, с отделкой из крема; причём эти мои знания не носят чисто теоретического характера. Даже ломтики лимона, просвечивающие из-под желе, были достижениями кондитерского искусства. Я помню стада розовых свинок с шоколадными глазками, все мыслимые разновидности плодов, грибы, копчёности, растения, какие-то лесные дебри и просеки. Создавалось впечатление, что Залевский мог бы повторить в сахаре и шоколаде весь космос, солнцу добавить луценого миндаля, а звёздам – глазуристого блеска; каждый раз в новом сезоне этот мастер мастеров ухитрялся пронзить мою душу, алчущую, беспокойную, ещё совершенно доверчивую, с новой стороны,

⁹ Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 06.09.1975.

заполнить меня многозначительностью своих марципановых скульптур, офортами белого шоколада, везувиями тортов, извергающих взбитые сливки, в которых, словно вулканические бомбы, летали замороженные фрукты».

Заявление «я действительно нигде не видел» возбудило мою подозрительность, когда я первый раз читал эти слова, как ребёнок, жадно пожирающий все книги Лема, которые удалось найти в домашней библиотеке, в библиотеках друзей и, наконец, в библиотеках школьных, публичных и городских, которые я посещал во время каникул. «Высокий Замок» попался мне в одной из районных библиотек, и это была моя первая встреча с феноменом польского Львова.

Раньше информация, что до войны существовало два каких-то больших польских города, которые перестали быть польскими из-за изменения границ в 1945 году, была для меня географической диковинкой, не более того. «Высокий Замок» наполнил Львов специфическим ароматом обжаренного кофе с улицы Шопена, романтическим пейзажем Иезуитского сада или описанием кондитерских, в которые каждый читающий эту книжку ребёнок (независимо от возраста) хотел бы немедленно перенестись.

Но могла ли витрина кондитерской Залевского действительно быть такой чудесной, как в книжном описании? Я вырос в глубоком убеждении, что всё самое лучшее – за пределами Польши. Где-то там, где происходят действия западных фильмов, а лучше всего американских. Это убеждение уже чуждо для поколения моих детей, но я не могу от него освободиться даже сейчас.

Автобиографический «Высокий Замок» появился в 1965 году, когда ежедневность Лема выглядела более-менее так, как это описано в прологе. Не исключено, что слова о марципане от Залевского и халве от Кавураса он выстукивал на машинке, все ещё ощущая на языке вкус батончика, съеденного украдкой в подвале.

«Овощные», в которых он запасался сладостями, были причудливыми магазинами, пользовавшимися весьма либеральным отношением власти ПНР к торговле овощами и фруктами. Работали они по капиталистическому принципу. У них был своего рода собственник (более конкретно, агент или хозяин), который продавал в них всё, что мог.

Прежде всего овощи и фрукты, потому что это основа его деятельности. А также леденцы, «тёплое мороженое», лимонад (в порошке и в бутылках с особенными многоцветными крышками), специи, содовую и баллончики с углекислым газом, с помощью которых можно делать такую же воду самому в сифоне.

Когда я читал «Коричные лавки» Шульца, то представлял себе именно такие «овощные», потому что они больше всего соответствовали тому, к чему я привык. «Слабо освещённые, тёмные, их праздничные интерьеры пахли густым запахом красок, лака, благовоний, ароматом далёких стран и редких материалов», – сегодня я понимаю, какой ошибкой было представлять себе коричные лавки по образу социалистического киоска, сбитого из досок (у предпринимателя не было причин для инвестиций в свой бизнес, потому что формально он не являлся собственником).

Ничего не могу поделать с тем, что я воспитывался в Польской Народной Республике. Даже, наоборот, буду утверждать, что это помогает мне в понимании разных сюжетов в прозе Лема, который большинство своих произведений создал во времена этого режима, среди овощных и мясных, между написанием заявки на предоставление стиральной машины и грызнёй за автозапчасти в магазине «Polmozbyt». Без этого мы не понимаем, например, рассказы о Пирксе (особенно «Ананке», где на Марс перенесены реалии типичных социалистических инвестиций) или сложные отношения интеллектуала-правителя в «Глазе Господа», и прежде всего рассказ «Профессор А. Донда».

Но это, собственно, моё социалистическое происхождение является причиной недоверия относительно описаний Второй Речи Посполитой с таким энтузиазмом, как в предыдущем фрагменте «Высокого Замка».

Лем утверждает, что никогда не видел витрин, устроенных с «таким размахом». Он писал те слова уже после первых путешествий по Европе, которые были довольно скромными. Он не знал легендарных витрин лондонского Гарродса или магазинов с нью-йоркской Пятой авеню. Увидь их Лем, сохранил бы он своё восхищение прилавками довоенного Львова?

Когда я наконец посетил Львов, чтобы найти следы Лема, то поверил писателю. Это был мой первый приезд в этот город. Прежде всего я ожидал, что найду немного следов, потому что после стольких лет мало что могло остаться от довоенного Львова. Даже от левобережной Варшавы осталась лишь сетка улиц, тоже сильно модифицированных.

Ничего, я люблю посещать города, которые уже не существуют. Я сделал из этого что-то типа квазирепортерской мини-специальности. Дороги, которых уже нет на картах, города, которых на ней никогда не было, но их разместила там фантазия писателя или режиссёра – согласно буддийской максиме «само путешествие уже награда» я люблю посещать их, даже если знаю, что незачем.

Я поехал во Львов, снабжённый «Путеводителем по Европе», том 1: «Восточная и Центральная Европа» (Россия, Австро-Венгрия, Германия и Швейцария) доктора Мечислава Орловича 1914 года, книга, с которой я люблю исследовать *Mittleurope*. Орлович пишет про Львов так:

«Львов. Старая столица Красной Руси, основанная в XIII веке, во время царствования Казимира Великого переходит под власть Польши. Сейчас главный город Галиции, резиденция правителя, национального сейма, католического архиепископа, митрополита униатского и архиепископа армянского обряда. Жителей Львова 210 000, в том числе 120 тысяч поляков, 60 тысяч евреев, 25 тысяч русинов, 5 тысяч немцев. Львов создаёт впечатление абсолютно современного – зданий старше XVII века очень мало».

К своему удивлению, я обнаружил, что Львов в целом не изменился с 1939 года и даже с 1914-го. Можно передвигаться согласно столетнему плану города: большинство зданий стоит там, где и стояли.

Дома, которые доктор Орлович называл «абсолютно современными», это прежде всего австро-венгерская сецессия. При австрийском разделе Львов, как «резиденция наместника» и столица всей Галиции, пережил демографический, экономический и урбанистический бум. Большинство зданий в центре построены в XIX веке, здешняя сецессия так прекрасна, что впечатляет даже того, кто хорошо знает Вену и Краков.

Юрий Андрухович, который написал послесловие к изданию собрания произведений Лема (издательство «Агора») в 2009 году, сосредоточился на том, что в этом городе изменилось с 1939 года. Перечень описанных Лемом мест, которых уже нет: пассаж Миколяша, магазин с игрушками Клафтена и киоск со сладостями Кавураса. Однако большинство знаменитых улиц и зданий сохранилось, часто они даже выглядят так же, как и перед войной (потому что два десятилетия Польша и Европа вкладывали значительные суммы в реконструкцию львовских памятников архитектуры).

Вооружённый планом города и путеводителем доктора Орловича, я каждый день воссоздаю путь Лема от его дома (Браеровская, 4) до гимназии (Подвальная, 2). Это улицы: Браеровская, Подлевского, Ягеллонская, Легионов, пассаж Андреолли, Рынок, Русская, Подвальная, Чарнецкого. Сегодня соответственно это улицы: Лепкого, Гребёнки, Гнатюка, проспект Свободы, пассаж Андреолли, Рынок, Русская, Подвальная. Даже не все названия изменились!

* * *

Я прохожу мимо каменицы Мауриция Аллерханда, украшенной египетскими мотивами, он был довоенным юристом, одним из создателей польского гражданского права, которое используют и по сей день. Любуюсь Иезуитским садом (сейчас парк Ивана Франко), виднеющимся на горизонте. Пересекаю проспект Свободы, бульвар, который выглядит так, как хотели бы выглядеть краковские Планты, но им не хватает размаха. Я прохожу мимо Рынка и его необычной Ратуши, архитектура которой так не нравилась Орловичу («уродливая, четырёхгранная в бюрократическом стиле с 1820 года, с башней 65 метров в высоту»), но как видно сегодня, Ратуша хорошо перенесла испытание временем.

Легко себе представить довоенный Львов, достаточно притвориться, что не видно современных автомобилей, зато всё больше видно довоенные признаки, которые и так везде пробируются из-под штукатурки. Я прохожу мимо магазина, который предлагал «церковные атрибуты, серебро, бронзу и т. д.», не знаю, что конкретно с этими атрибутами там делают (скупают? продают? ремонтируют? все вместе?), потому что тот кусок штукатурки ещё не полностью отвалился, поэтому он и дальше хранит свой секрет.

С другого магазина штукатурки отпало достаточно, чтобы догадаться, что перед войной это был обувной, поскольку видны буквы «обувь из Итал», «сапоги» и «принимаем в починку всё». Напротив каменицы Лемов, согласно «Высокому Замку», должна была размещаться библиотека, но, судя по тому, что выглядывало из-под штукатурки, это скорее похоже на кондитерскую, видны слова «мороженое, содовая», из открытых фрагментов букв можно уже догадаться про следующие надписи: «кофе, шоколад».

Возможно, это место соединяло в себе обе функции так, как сейчас модно в польских книжных-кафе. Но ассортимент сладостей, скорее всего, был бедным, раз кафе было под самым носом Лема, а в «Высоком Замке» он о нём даже не упоминает.

Поэтически описанная кондитерская Залевского уже не является кондитерской, а рестораном украинской сети «Пузата Хата» – это хороший фастфуд, в котором еда заказывается у прилавка, но едят её за столиком из тарелок и нормальными столовыми приборами. Немного похоже на столовую, только выбор предложенных блюд из украинской домашней кухни.

Во время первой советской оккупации в национализированном помещении Залевского размещалась показательная кондитерская, где демонстрировались самые лучшие пирожные, что производились в Москве (точно так же, как и в Москве, недоступные обычному человеку). Во время немецкой оккупации там работало кафе существующей и по сей день сети Julius Meinl, естественно, *nur für Deutsche*¹⁰. После войны там всегда было то или иное кафе или ресторан.

В окнах уже нет творений «Рубенсов кондитерства», но сами окна и сегодня обольщают сецессийным великолепием. Выкованные вручную орнаменты, блестящие медью, мозаика, мрамор – новый собственник всё отчистил и вернул первозданный блеск. Даже в Вене немного найдёшь таких прекрасных примеров сецессии. Можно понять, почему Лем, когда впервые увидел Вену, описывал её как «очень увеличенный Львов»¹¹.

Также обновлено здание гимназии, в которую ходил Лем. Сегодня это школа № 8, а тогда государственная гимназия № 2. Школа в 2018 году отметила двести лет практически непрерывного существования в том же самом здании и в той же форме, что редко встречается в нашем регионе Европы. Сколько школ в Польше может сказать это же о себе?

¹⁰ Barbara Mękarska-Kozłowska, *Burza nad Lwowem*, Warszawa: Polska Fundacja Kulturalna, 1996.

¹¹ Станислав Лем, письмо к Владиславу Капуцинскому, 24.12.1978.

Гимназия была основана австро-венграми как школа для детей австрийских чиновников (так описано в путеводителе доктора Орловича). В независимой Польше название было изменено, но, естественно, и дальше существовала необходимость в элитной школе с углублённым изучением немецкого языка.

Школу не ликвидировали и немецкие оккупанты, кому как не им углублённое изучение немецкого не мешало. Её существование было востребовано и после войны, в Советском Союзе. При всей тоталитарности этой системы там всегда делался упор на изучение иностранных языков – в конце концов, где ещё готовить будущих шпионов. И сейчас свободной Украине нужна такая школа, а особенно в её самом прозападном городе.

Если город рассматривать только через здания, то Львов выглядит как место, чудесным образом уцелевшее от проклятий Центрально-Восточной Европы, через которые в XX веке не раз проходили фронты Первой и Второй мировых войн, и к тому же ещё конфликты помельче, такие как советско-польская война или борьба новых государств за демаркацию. Много городов, как и мою Варшаву, сровняли с землёй. Львов уцелел.

Или скорее уцелел бы, если считать, что город – это только здания. Этот Львов сохранился, но потерял свои человеческие ресурсы. После 1945 года коммунистическая власть выгнала поляков и провела чистку среди украинцев. Раньше из города сбежали немцы, которые перед этим успели уничтожить почти всех евреев. Вероятно, отчасти потому так хорошо сохранилась недвижимость. Некому было её разрушать. Семьдесят лет назад Львов был городом прекрасно сохранившихся заброшенных домов.

Глядя на эти дома, я понимаю, что в поисках какой-то загадки в решении Самюэля Лема, который в 1918 году решил связать свою судьбу и судьбу своей семьи со Львовом и с Польшей к лучшему или к худшему, я поддаюсь когнитивной иллюзии, которую историки называют презентизмом. Это оценка принятых решений в прошлом с использованием теперешних знаний.

Я уже знаю, насколько плохо было это «к худшему». Сорокалетний и поэтому одарённый жизненной мудростью доктор Самюэль Лем прежде всего видел это «к лучшему». Тут он влюбился, ему было где жить, тут мог продолжать научную и медицинскую работу. Тут жили его старшие братья и сестры, а также постаревшие и требующие опеки родители, которые умерли незадолго до рождения Станислава Лема.

Мой презентизм приводит к тому, что я хотел бы запрыгнуть на хроноцикл Лемов, чтобы дать жизненный совет Самюэлю, который с сегодняшней перспективы выглядит самым рассудительным: убегай отсюда. Забирай невесту и начни всё с нуля в каком-то месте, которого не коснётся война. Лучше всего отправься вслед за опозоренным родственником в Штаты, а если не туда, то в Мексику, Буэнос-Айрес или хотя бы в Лондон – куда угодно, куда не доберутся танки Гитлера и Сталина. Если ты этого не сделаешь, то всё равно будешь всё начинать с нуля, но намного позднее, в Кракове, дряхлый и больной, в том возрасте, когда каждый хотел бы уйти на пенсию.

В 1918 году Львов был территорией борьбы между Польшей и Западно-Украинской народной республикой. Это было эфемерное государство, которому никогда не удалось установить свои границы или добиться международного признания. По крайней мере, они придумали флаг, который сегодня гордо развевается перед зданием органов власти Львовской области, вместе с украинским и европейским флагами. Они размещаются в том самом здании, которое для себя построили австрийские захватчики, – недалеко от гимназии Лема с углублённым изучением немецкого.

Польским Львов стал только в мае 1919 года – за неделю до свадьбы Самюэля и Сабины Лемов! – когда в город вошла армия Халлера, прекращая украинскую осаду. В армии доминировали эндеки¹² – члены польских националистических организаций. Членом организации

¹² От ND – Narodowa Demokracja.

называли «эндеки» от сокращения начальных букв, их вторжение сопровождали антиеврейские побиоища, которые историки, благосклонные к эндекам, называют «поиск еврейских снайперов, стреляющих в поляков», остальные называют это погромом.

Или виной только мой презентизм, что я вижу во всём этом предвестие куда страшнейших событий, которые разыгрались в этом самом месте два десятилетия спустя? Что чувствовал Самюэль Лем, который уже раз испытал осаду Пшемысля, когда украинцы окружили Львов и через определённое время город был отрезан от электроснабжения и провианта? Или описанный Станиславом Лемом след шальной пули, шрам на одном из окон каменицы на Брареровской, не был для его отца достаточным предостережением? А может, как большинство его современников, он считал, что это всё временные родовые схватки, в которых рождалась Польша – сильная, бетонная, нерушимая. То, что мы называем Первой мировой войной, для него было Большой войной, и – как большинство его современников – он не думал, что она повторится.

На протяжении жизни Станислав Лем неохотно говорил на тему родителей, наверное, прежде всего потому, что, вдаваясь в простые детали, например упоминая имя отца, затронул бы, в конце концов, вопрос своих еврейских корней.

Эта тема была для Станислава Лема абсолютным табу. Он никогда об этом не говорил публично, да и приватно тоже, делая очень редкие исключения – три, про которые мне известно: корреспонденция с английским переводчиком Майклом Канделем и частные разговоры с Яном Юзефом Щепаньским и Владиславом Бартошевским.

Это нежелание говорить о его происхождении не объясняет, однако, почему родители в воспоминаниях Лема – говоря словами Лема из рассказа о драконах – отсутствуют двумя разными способами. Про отца мы тем не менее узнаем некоторые вещи (кем был, чем интересовался, что любил, даже то, что ему нравилась «Больница Преображения», а «Астронавты» не особо). Про мать не знаем даже этого.

Обрывки информации находим в книгах Береса, Фиалковского и Томаша Лема (которому не удалось познакомиться с дедушкой Самюэлем, но он помнит с детства бабушку Сабину, которую называл по её краковскому адресу «бабушка Бонеровская»).

Бересю Лем говорил:

«Мама была родом из очень бедной семьи из Пшемысля, поэтому брак моего отца его родственники оценивали как морганатический. Семья отца не раз давала моей матери понять, что в нём есть что-то неправильное.

Да, у матери не было никакой специальности, она была просто домохозяйкой. У нас были нормальные отношения, тем не менее я всегда больше льнул к отцу, именно поэтому, видимо, он оказал сильное влияние на мою личность, что видно хотя бы по моим интересам. Мать, конечно, всегда была дома, штопала мои носки, занималась мной, но никогда не была моим поверенным. Эту роль исполнял отец. И хотя он был очень занят, я высоко ценил те малые отрезки времени, которые он отрывал для меня от своей работы»¹³.

Фиалковскому Лем рассказывал отличный семейный анекдот:

«Когда отец попал в плен, моя мать была такой недовольной затянувшимся пребыванием в русском лагере для военнопленных, что поехала в Вену, к Катарине Шратт, знакомой императора Франца Иосифа, просить, чтобы император обратился к царю с просьбой об освобождении моего

¹³ Все цитаты из интервью Станислава Береса взяты из книги Станислава Береса «Так говорил... Лем» (Беседы со Станиславом Лемом).

отца. Госпожа Шратт приняла мать очень любезно, но, естественно, ничего из той аудиенции не вышло. Отец всегда смеялся с того, что его невеста воспринимала дело об их отложенной свадьбе так серьёзно»¹⁴.

И наконец, Томаш Лем пишет:

«Его жена Сабина не получила высшего образования, поэтому Самюэль Лем заключил образовательный мезальянс исключительно по любви. Бабушка ослепила его своей красотой. Со временем выяснилось, что у неё был трудный характер и дедушка с ней натерпелся. Похоже, её любимым занятием было лично взимать арендную плату с жильцов дедушкиной каменицы, что однозначно и не слишком доброжелательно определило отношение квартирантов к арендодателю»¹⁵.

На основе этих крох можно разве что заключить, что Сабина, младше на тринадцать лет Самюэля, была особой, которой палец в рот не клади. Если стрела Амура соединила её с такой выгодной партией, то она не позволит никому их разлучить. Царь не царь, война не война, революция не революция. И что уж там какие-то (презентистские) сомнения, был ли Львов после Первой мировой войны хорошим городом, чтобы там завести семью.

Однако, чтобы этот брак состоялся, Самюэль Лем должен, во-первых, пережить войну, – и лучшим вариантом было достаточно рано попасть в плен, а во-вторых, он должен из этого плена вернуться целым и невредимым. Ни одно, ни другое не было очевидным, о чём свидетельствуют дальнейшие воспоминания (у Фиалковского):

«Если бы не семья, чья фиктивная телеграмма вытаскивала его из итальянского фронта, он бы неизбежно погиб, потому что окопы где-то возле Пьяве, в которых сидело его подразделение, итальянцы затопили. Это была страшная гекатомба».

Из итальянского фронта Самюэль Лем попал в крепость Пшемысль. Так, по крайней мере, это выглядит из рассказов Станислава Лема, хотя эта история явно немного приукрашена. Нельзя было из итальянского фронта попасть в Пшемысль по той простой причине, что Пшемысль сдался русским 22 марта 1915 года, а Италия объявила войну Австро-Венгрии спустя два месяца.

Короче говоря, отец Станислава Лема мог, вероятней всего, находиться в гарнизоне, охраняющем мирные границы с – пока ещё дружественной – Италией, но не мог находиться на «итальянском фронте». Это логично: если бы семьи солдат и офицеров Первой мировой могли вытаскивать своих родных «фиктивными телеграммами» с фронта – война закончилась бы намного раньше.

Одно точно: в марте 1915-го, после капитуляции крепости Пшемысль, Самюэль Лем был вывезен в лагерь для военнопленных в Туркестан. Снова у Фиалковского:

«Отец также рассказывал, что из благородства россияне позволили им идти в плен с саблями на боку; на первой же станции за Пшемыслем у них, однако, эти привилегии отобрали. В лагере в Туркестане к отцу прицепилась собачка, которую он назвал Сралик: офицеры спали в общей спальне, и собака делала кучки под всеми кроватями, за исключением кровати моего отца. Когда он вернулся во Львов, австрийско-венгерская империя ещё существовала, и он получил Goldenes Verdienstkreuz am Band der Tapferkeitsmedaille, то есть Золотой Крест Заслуги на ленте Медали за Отвагу. Маленьким ребёнком я с удовольствием игрался им – мне разрешали».

¹⁴ Tomasz Fiałkowski, *Świat na krawędzi*, Cyfrant, 2000.

¹⁵ Tomasz Lem, *Awantury na tle powszechnego ciężenia*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009.

Чтобы вернуться во Львов, Самюэль Лем должен был ещё пережить революцию в России, во время которой австрийских офицеров расстреливали без суда просто за неподобающее классовое происхождение. Снова у Фиалковского читаем, что на полдороге между Туркестаном и Львовом, в безымянном «маленьком городке Украины», доктор Самюэль Лем был пойман красными и там его повели на расстрел, жизнь спас ему «один еврейский парикмахер, который знал отца со Львова, а тут брил местного коменданта, и тот его просьбу об освобождении отца выслушал».

Почитатель прозы Станислава Лема, читая о военных перипетиях его отца и всех благоприятных стечений обстоятельств, которые привели к его браку с матерью писателя, непроизвольно ассоциирует с вымышленной биографией лемовского героя, профессора Цезаря Коуски. Коуски – автор одной из несуществующих книжек, «отрецензированной» Лемом в «Абсолютной пустоте».

Работа Коуски, под названием «*De impossibilitate vitae*», является антиавтобиографией. Коуска описывает в ней не столько свою жизнь, сколько её крайне низкую вероятность. Если принять во внимание все стечения обстоятельств, которые должны были произойти, чтобы его родители влюбились, поженились и воспроизвели на свет будущего чешского философа, это просто не могло произойти.

Тут мы замечаем много знакомых элементов. Профессор Коуска является ровесником Станислава Лема, его родители (что характерно, снова без имён) тоже являются ровесниками Самюэля и Сабины Лемов. Вот только в результате военной суматохи они оказались в конце концов в Праге, что Коуска уже считает маловероятным, потому что его отец – как и отец Станислава Лема – в 1914 году находился по дороге во Львов, где его родители присмотрели ему жену «ввиду общих интересов».

Так, как и отец Лема, Коуска-старший служил как австрийско-венгерский военный доктор в Пшеммысле, в котором вообще бы не оказался, если бы не война. Тут он влюбился с первого взгляда в девушку, с которой познакомился только потому, что она ошиблась дверями в госпитале.

Как и подобает аналитическому философу, профессор Коуска «любовь с первого взгляда» раскладывает на простые факторы и утверждает (неизвестно, на каком основании, потому что читаем рецензию, а не само произведение), что поводом к *coup de foudre* послужила характерная «улыбка Моны Лизы». Эта улыбка появилась из-за смещения хромосом «этого похотливого палеопитека и этой четверорукой первобытной женщины», которые совокуплялись «под эвкалиптовым деревом, которое росло там, где сейчас находится Пражский малый град».

Из того акта зачатия появилось «соединение локусов генов, которое передавалось через следующие 30 000 поколений», создавших мышечный комплекс, отвечающий за эту улыбку. А если бы четверорукая, убегая, не споткнулась о корень эвкалипта, не было бы этого акта. А эвкалипт, собственно, рос тут, а не где-нибудь ещё, потому что 349 тысяч лет назад огромное стадо мамонтов напилось сульфированной воды из Влтавы и, собственно, тут произошло их массовое испражнение. Вода была сульфированная из-за сдвига два с половиной миллиона лет тому назад главной геосинклинали карпатского горного массива. Это возвращает нас во время падения метеорита из роя Леонидов, с которого начался этот тектонический сдвиг и так далее... Впрочем, я изложил тут только небольшой фрагмент.

Схожесть между судьбой писателя и его героя настолько интригует, что рискну выдвинуть гипотезу: быть может, это одна из тех ситуаций, когда Лем в повествовании, казалось бы, далёком от автобиографичности, однако, что-то хочет нам рассказать о себе. Кроме Львова и Пшеммысли у нас есть ещё другие общие элементы. Семья военного врача не одобряет его увлечение, к счастью, разные переплетения обстоятельств делают это неодобрение бессмысленным. Тут тоже появляется итальянский фронт, но там погибает капитан Мейсен – один из

соперников Коуски-старшего, у которого было больше шансов, но его устранила «граната 22-го калибра», вместе с тогдашней нехваткой антибиотиков (как замечает Коуска: если бы пенициллин изобрели раньше, то я бы не появился на свет).

Если посмотреть на этот апокриф как на сюжетное произведение, а не как на извращённое квазиэссе на тему анализа вероятности и статистики, выйдет что-то на самом деле напоминающее романтическую комедию Ричарда Кёртиса. Несмотря на преобладающие обстоятельства, Билл Найи и Эмма Томпсон в финале поцеловались.

Произведение появилось в начале семидесятых годов, перед пятидесятилетием Лема, когда его сыну Томашу было три года. Письма, которые в то время писатель отправляет друзьям и коллегам, пронизаны огромным чувством радости и счастья, которые дарят ему жена и ребёнок.

Одновременно в письмах того периода Лем вынужден был объяснять, почему уже не хочет писать фантастику. Рискую, что сейчас у меня получится аргумент такой сладкий, как Райан Гослинг, вырезанный из марципана, я сказал бы, что феномен любви, этой необыкновенной силы, что сильнее мировых войн и сдвигов горных массивов, очаровывал тогда Лема больше, чем космические полёты. И своим странным и ироничным способом он представил нам любовь Самюэля и Сабины как романтическую трагикомедию.

Новый интерес мог быть той причиной, по которой Лем начал больше рассуждать про своих родителей. Был и второй повод: в этот период упоминавшийся Майкл Кандель, который, в свою очередь, с перспективы «бетонно нерушимого» Манхэттена не был даже в курсе того, насколько болезненное табу нарушил в своих письмах, спровоцировав Лема на искреннюю беседу о родителях и близких родственниках. В 1972 году Лем пишет: «Кроме моих родителей всю мою родню перебили немцы (в основном газ – лагеря смерти)»¹⁶, а в следующих письмах даёт всё больше деталей о самой оккупации.

Что известно про счастливое детство Станислава Лема, то есть про времена, когда он был «чудовищем», как он сам отзывается о себе в начале второго раздела «Высокого Замка»? Он был поздним и единственным ребёнком. Документы свидетельствуют, что он пришёл в этот мир, когда доктору Самюэлю Лему было сорок два, 12 сентября 1921 года. Реальная дата была, скорее всего, 13 сентября, так вписали, чтобы избежать несчастий¹⁷.

Он был избалован даже по сегодняшним меркам: «Кушать я соглашался только в том случае, если отец, взгромоздившись на стол, попеременно открывал и закрывал зонтик, или же меня можно было кормить только под столом», – пишет он в «Высоком Замке». Удивительно, что у отца было на это время, поскольку Лем постоянно подчёркивает, что отец был преуспевающим ларингологом, поэтому переутомлялся. «Он работал и в клинике, и в медицинском страховании, и у него была практика на дому», – говорит Лем Фиалковскому и поясняет, что из-за этого отец был «нервным»: «Говорили, что, когда доктор Лем кричит на четвёртом этаже, выставляя пациента за двери, слышно было внизу».

К этому анекдоту я отношусь с крупницей скептицизма. Это противоречит тому, что в других фрагментах Лем описывает своего отца как джентльмена со старосветскими, довоенными манерами, и это перед Первой, а не Второй мировой войной. Мне трудно поверить в доктора Самюэля Лема, выставляющего пациента за двери, скандала на весь дом, потому что по городу быстро бы распространились слухи и к нему перестали бы толпой идти пациенты. Зато, прочитав множество интервью и писем Лема, я заметил, что он обманывал своего собеседника, рассказывая ему *de facto* о себе, но так, словно говорил о ком-то другом. А вот рассказы о том, что когда сам Станислав Лем скандалил в какой-то редакции по поводу невыплаченного гонорара или опечатки, то это разносилось на несколько этажей, я слышал от многих источников.

¹⁶ Станислав Лем, письмо к Михаэлю Канделю, 10.11.1972.

¹⁷ Станислав Лем, письмо к Виргилиусу Чепайтису, 6.04.1985.

Но в то, что Самюэль Лем переутомлялся, я верю безоговорочно, потому что в воспоминаниях Лема появляется картинка счастливого детства, но немного грустного. Счастливого, потому что родители (в основном отец) охотно удовлетворяли все капризы сына. Грустного, потому что, скорее всего, они не так много им занимались, и он много времени проводил в одиночестве.

Отсюда и забавы, которые в другой семье закончились бы гневной головомойкой, но этого, скорее всего, не допустили бы родители, потому что выходки маленького Лема – это очевидные игры ребёнка, преждевременно предоставленного самому себе. В «Высоком Замке» мы читаем: «Извлечённые из шкафов костюмы отца я перedelывал на манекены, восседающие на стульях и креслах, в поте лица своего набивая свёрнутыми в рулоны журналами их болтающиеся рукава, а внутрь запикивая что под руки попадало». Сташек неистово уничтожал те игрушки, которые родители дарили ему, может быть, затем, чтобы он оставил в покое их одежду: «Калейдоскопами, которые я вскрывал, можно было одарить целый приют, а я ведь знал, что в них нет ничего, кроме цветных стекляшек», «Волшебный фонарь фирмы Патэ с французским эмалированным петушком на стенке мне пришлось обрабатывать тяжёлым молотком, и толстые линзы объектива долго сопротивлялись его ударам. Жил во мне какой-то бездумный, отвратительный демон разрушения и порчи; не знаю, откуда он взялся, так же как не знаю, что с ним случилось позже».

Как отец я немного ориентируюсь в этой демонологии, поэтому знаю, что имя этого чудовища – скука. Она уходит, когда ребёнок чем-то заинтересуется.

Маленький Сташек сам научился читать, сначала разбирая надписи вокруг себя, хотя бы загадочный заголовок докторского диплома¹⁸ своего отца:

«SUMMIS AUSPICIIIS IMPERATORIS AC REGAS FRANCISCI IOSEPHI...»

(этот диплом его сильно интриговал, потому что сургучная печать напоминала ему тортик). И так исчез демон разрушения, пришла жажда чтения. «Правду говоря, я читал всё, что попадало в руки», – говорил он Фиалковскому. Отец пытался как-то влиять на это чтение и подарил четырнадцатилетнему Сташеку «полное издание Словацкого»¹⁹. Однако мальчик предпочитал книги про науку, технику и медицину (их дома было много), а также приключенческие, типа Карла Мая или Стефана Грабинского, про которого много лет спустя напоминал польскому читателю.

Вооружённый базовыми знаниями в науке и технике, Лем заменил демона разрушения на демона созидания. Собственными руками он создавал машины, про которые читал в научно-популярных книгах или которые покупал за свои карманные: катушка Румкорфа, машину Уимсхёрста, генератор Теслы. Всё это оборудование имело небольшую практическую ценность, но впечатляющий эффект. Оно позволяло генерировать высокое напряжение, исчисляемое в тысячах и десятках тысяч вольт, но с такой незначительной силой тока, что можно было спокойно позволять играть ребёнку, он не причинит себе вреда. Зато в тёмном помещении можно было любоваться электрическими зарядами и ощущать себя Зевсом Громовержцем.

Кроме того, Лем заполнял тетради проектами собственных изобретений, таких как: велосипед с передним приводом, самолёт с паровым приводом (для производства пара использовался солнечный свет), двигатель внутреннего сгорания из кресальных камней зажигалок вместо свечей зажигания и планетарную передачу, которую, честно говоря, ещё до Лема придумали античные изобретатели, но он этого не знал и тем более не знал, что это изобретение уже имело название. Большинство этих вещей в действительности не имело смысла и никогда

¹⁸ Лемолог Виктор Язевич установил по польским публикациям начала XX века, что на самом деле это был «диплом доктора всех медицинских наук», то есть подтверждение получения отцом писателя научной степени. – *Прим. ред.*

¹⁹ Станислав Лем, письмо к Майклу Канделю, 20.08.1975.

бы не работало. Среди них были, по словам самого Лема, «десятки идей для *perpetuum mobile*». Часть, может быть, и имела какой-нибудь смысл, если бы их доработать, но от карандашного наброска в «тетради с изобретениями» до технического рисунка, на основе которого можно собрать конкретный прототип, была длинная дорога.

Несомненно, все это повлияло на позднюю прозу Лема. Когда Лем описывает какой-то механизм, над которым мучается его герой, в этом ощущается конкретика, которой часто не хватает книжкам *science fiction* других авторов. Пилота Пиркса, который кабель радифона перепутал с обогревательным, «хорошо ещё, что у них была разная резьба, но ошибку он заметил только тогда, когда пот потёк с него в три ручья», мог придумать только писатель, который действительно что-то сам делал, ремонтировал или модифицировал, и с него тоже тёк пот в три ручья от неподходящих друг к другу разъёмов.

У большинства писателей астронавты как-то так легко и просто подсоединяют оборудование, и оно сразу же работает.

На прозу взрослого Лема также повлияла и другая его детская забава – знаменитая «империя документов». Вдохновением для неё были игры, когда ещё неграмотный Сташек бушевал в комнате родителей и разглядывал отцовский диплом и содержимое шкатулки с документами умерших дедушек (предыдущих владельцев каменицы на Браеровской). Были там и банкноты, которые в результате гиперинфляции потеряли всякую ценность.

«Какая непонятная история приключилась с этими деньгами, неожиданно лишив их могущества. Вот если бы мне их не давали, я, может, и поверил бы в то, что остатки могущества, гарантированного цифрами, печатями, водяными знаками, портретами коронованных бородатых панов в овале, в них ещё сохранились и только дремали до поры до времени. Но я мог делать с ними что душе угодно, и поэтому они только вызывали презрение, которое обычно начинаешь чувствовать к великолепию, оказавшемуся на поверку вульгарной подделкой».

Разгадав загадку того, что цифры, печати и водяные знаки иногда имеют власть, а иногда нет, Сташек Лем начал играть в собственноручное изготовление документов. Много гениев фантастики в раннем подростковом возрасте рисуют карты несуществующих стран и генеалогические деревья фиктивных династий. Позже они тянутся к этому во взрослом творчестве, как Толкин. Лем не рисовал карт, он даже не придумывал название для своей Сказочной страны, зато придумал её бюрократию. Он изготовил пёстрые удостоверения, сшитые серебряной проволокой, выпоротой из школьной нашивки и перфорированной шестернёй из будильника.

«Что это были за удостоверения? Самые разнообразные: дающие, например, определённые, более или менее ограниченные, территориальные права; я вручную печатал звания, титулы, специальные полномочия и привилегии, а на продолговатых бланках – различные виды чековых книжечек и векселей, равносильных килограммам благородного металла, в основном платины и золота, либо квитанций на драгоценные камни. Изготавливал паспорта правителей, подтверждал подлинность императоров и монархов, придавал им сановников, канцлеров, из которых каждый по первому требованию мог предъявить документы, удостоверяющие его личность, в поте лица рисовал гербы, выписывал чрезвычайные пропуска, прилагал к ним полномочия; а поскольку я располагал массой времени, удостоверение явило мне скрывающуюся в нём пучину».

Здесь, в свою очередь, видны начала параюридической фантастики Лема, всех тех рассказов, в которых Трурль побеждает плохую комету, используя «метод дистанционный, архив-

ный, а потому ужасно противный»²⁰ (то есть засыпая её сообщениями типа: «Ваша задержка, как противоречащая параграфу 199 постановления от 19.XVII текущего года, представляя собою ментальный эпсод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации»), или в которых парламентарии при использовании «закона Макфлакона – Гламбкина – Рамфорнея – Хмурлинга – Пьяффки – Сноумэна – Фитолиса – Бирмингдрака – Футлея – Каропки – Фалселея – Гроггернера – Майданского» стараются урегулировать юридические последствия действий стиральных машин с искусственным интеллектом. Вначале была детская рефлексия: как же так получается, что иногда медицинские дипломы выдаются под патронатом императора Франца Иосифа, а иногда – президента Речи Посполитой Польши, и кто или что, собственно, принимает это решение (в империи документов этот единственный вопрос оставался открытым – Лем никогда не изготовил окончательного документа, дающего всевластие: даже удостоверения, выдаваемые императором, давали полномочия как максимум взять из сокровищницы конкретное количество «бриллиантов размером с голову» и ничего большего).

Хотя Лем свои воспоминания детства, записанные Фиалковским, начинает с заявления: «Я охотно признаю, что не совсем нормальный», я сказал бы, что из этих описаний выплывает абсолютно нормальная картинка детства сообразительного ребёнка. Конечно, эксцентричного, конечно, плохо воспитанного, но кто должен был его воспитывать, если у родителей просто не было на это времени?

В крохах воспоминаний Лема поражает то, что родители не делали ничего непосредственно созданного для радостной, совместной игры с ребёнком. Лем писал, например, что наряжал ёлку вместе с уже упоминавшейся учительницей французского²¹. Почему не с родителями? Не хотели присоединяться к этому действу из-за еврейского происхождения? Но без их согласия в доме вообще бы не было ёлки (эта традиция всегда была сильно секуляризована). Даже если сделать поправку на то, что тогда по-другому трактовали родительство, чем сейчас, отсутствие воспоминаний про общие игры с родителями выглядит странно, тем более что ничего не указывает на то, что Станислав Лем был нелюбимым ребёнком или заброшенным. В любом случае это вполне объясняет проблему плохого воспитания (а собственно – его отсутствия).

Эти три больших увлечения, доминирующие в «Высоком Замке» – сладости, изобретательство и бюрократия, – не являются чем-то экстраординарным или исключительным. С той лишь разницей, что мальчики, фантазирующие о несуществующих странах, чаще придумывают карты, названия городов или имена правителей, чем их обязательства выдать предьявителю кучу рубинов, но чем это на самом деле отличается хотя бы от детских мечтаний Люка Бессона (которые он потом использовал для сценариев своих фильмов)?

Остальные детские игры и увлечения уже кажутся нормальными. Лем, мальчиком, любил пускать «блинчики» по воде, заниматься спортом (ездил с мамой на лыжные галицийские курорты), влюблялся в разных представительниц женского пола, в частности в служанку, в прачку, учительницу и таинственную девушку, которую он увидел издали в Иезуитском парке.

Из нескольких заметок мы можем также додумать, что его боготворили тётки и дяди. И доктор Самюэль Лем, называемый среди родственников «Лёликом»²², и его жена Сабина имели богатую социальную жизнь. Может, поэтому им не хватало времени на воспитание сына?

И тут мы доходим до главной загадки «Высокого Замка», или до остальной семьи Лема. Даже когда мы узнаем имена его тёток и дядь (не всегда так происходит), их описания ужасно

²⁰ Цит. по «Путешествие Пятое А, или Консультация Трурля», из «Кибериада», пер. с польск. А. Громовой.

²¹ Stanisław Lem, *Moje choinki*, «Przegląd», 16 grudnia 2002.

²² Anna Mieszkowska, *Ja, kabareciarz. Marian Hemar od Lwowa do Londynu*, Warszawa: Muza, 2006.

неточные. Больше всего мы узнаём про «тётку с улицы Ягеллонской», сестру Самюэля Лема. Это Берта Хешелес из дома Лехм. Она не настолько полонизировалась, как её брат; её сын Генрик Хешелес был умеренным сионистом, в отличие от тех евреев, которые ассимилировались в Польше, но пропагандировал идеи сохранения еврейской обособленности.

Другой родственник, младший брат матери, также появляется в «Высоком Замке» безмянным, но описан с большой сентиментальностью и симпатией. Будучи богатым врачом, он часто финансировал Сташеку покупки запчастей и механизмов для его экспериментов. В интервью Фиалковскому Лем говорил, что дядя погиб в массовом убийстве львовских профессоров, «хотя он был обычным врачом». С большой вероятностью можно установить его личность: это доктор Марек Вольнер²³. Лем никогда так и не узнал, что современные историки идентифицировали его дядю как жертву не убийства профессоров, а «петлюровского погрома» (25–27 июля 1941)²⁴, который не следует путать с «убийством заключённых» (1–2 июля 1941), когда погиб Генрик Хешелес.

Почти все «тёти и дяди» из «Высокого Замка» погибли во Львове или в концлагере в Белжеце. Воспоминание про их судьбу причиняло Лему очевидную и понятную боль. Кроме того, о большинстве из них он не мог говорить открытым текстом – Гемар, его двоюродный брат, был запретной темой, как и львовские погромы, да и сам Львов был темой, которую цензура ПНР неохотно пропускала.

Этот раздел мы закончим образом человека, который ещё даже не думает, что станет знаменитым писателем или будет изучать медицину. Лето 1939 года. Сташек Лем с надеждой ожидает прихода взрослой жизни. Он сдал экзамены и уверен, что будет учиться в Львовской Политехнике, потому что машины являются его жизненным увлечением.

Правда, с 1938 года учебное заведение ограничивает количество студентов еврейского происхождения, но Лем надеялся, что в качестве исключительно способного абитуриента справится со всеми трудностями.

Только что полученные водительские права в зелёной обложке говорят о том, что владелец этого документа имеет права на вождение только как любитель. Этого достаточно, ведь он никогда не хотел быть профессиональным водителем. Отец профинансировал его курсы и, может быть, когда-то купит ему автомобиль. Правда, здоровье отца начало сдавать, уже пару лет его донимает ишемическая болезнь сердца (стенокардия)²⁵, он уже не может работать как раньше, но зато инвестиции с недвижимости приносят семье плоды, и Лемы могут жить только с аренды.

Сташек мечтает о собственном автомобиле. Старший на двадцать лет брат Гемар иногда приезжает из Варшавы во Львов на американском лимузине марки Nash, раньше он участвовал в гонках по львовским улицам, и что с того, что он занял предпоследнее место, зато сидел за рулём настоящего Bugatti!

Летом 1939 года почти все говорили о войне, но кого во Львове это волновало. Немцы далеко, пока сюда доберутся, наши союзники откроют второй фронт за Рейном. Лем прошёл военную подготовку, поляки сильные, сплочённые и готовые к войне, а кроме этого безопасность гарантирована международными пактами.

Действительно, у будущего инженера Лема не было повода для опасений в этом бетонном, нерушимом, богатом и спокойном городе. Он часто гуляет по известным львовским торговым пассажам. По пути к пассажиру Хаусмана его манит интригующая реклама: «Счётная

²³ Лемолог Виктор Язневич установил по документам того времени, что упоминаемого здесь и далее (а также в книге Агнешки Гаевской) доктора Марека Вольнера на самом деле звали Гецель Вольнер. – *Прим. ред.*

²⁴ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy... op. cit.*

²⁵ Станислав Лем, письмо к Владиславу Капуцинскому от 30.08.1973.

печатная машинка «Birroughs» – складывает и отнимает автоматически!» Рекламу можно прочитать и сегодня, хотя сейчас пассаж носит имя «Кривой Липы» в честь липы, которая выросла посередине. К слову, совпадение в имени не является случайным – известный писатель Уильям С. Берроуз II²⁶ был сыном изобретателя и конструктора этих машинок, Уильяма С. Берроуза I, и, собственно, семейное состояние позволяло ему вести эксцентричный образ жизни.

Интересующийся техникой Сташек не мог не обратить внимание на эту рекламу. А если обратил, то доморощенный изобретатель машин, зарисованных в «тетради идей», не мог не задуматься над секретами этого изобретения. Самосчётная машинка, которая прибавляет и отнимает автоматически! Это так, словно она сама думает!

Кто знает, может, в сенях пассажа Хаусмана в воображении Станислава Лема появился первый зародыш сюжета *science fiction*, хотя он ещё даже не знал, что существует такой вид литературы.

²⁶ На самом деле писатель был внуком изобретателя, но дед больших денег заработать не сумел и практически ничего не оставил в наследство своей семье. – *Прим. ред.*

II Среди мёртвых

В предыдущем разделе я описывал, как тяжело мне было понять мечты и надежды доктора Самюэля Лема сто лет назад. Страх и страдания, которые были уделом семьи Лема во время трёх наступающих по очереди оккупаций Львова, для меня стали ещё более непонятными.

Я принадлежу к тому поколению поляков, которые пережили позитивные исторические сюрпризы. Нас воспитывали в ожидании очередной войны или восстания, которые (постучим по дереву) не наступили. Вместо этого мы могли жить так, как хотел жить Самюэль Лем, – работать, складывать копейку к копейке и баловать детей сладостями и игрушками. Мы говорим «кошмар», когда в отеле теряют бронь. Мы говорим «испытание», когда затягиваются формальности в госучреждениях. Но мне не хватает понятийного аппарата, чтобы описать тот ужас, что пережила семья Лема. Однако за это описание я всё же берусь, поощрённый словами самого Лема, который утверждал, что «способностей человеческого воображения абсолютно недостаточно, чтобы понять, что это значит, когда в газовые камеры загоняют сотни тысяч, миллионы людей, а потом крюками вытаскивают их тела и сжигают в крематориях»²⁷.

В семье Станислава Лема, кроме его родителей, выжил только Мариан Гемар, который в сентябре 1939 года сделал то, что мой презентизм подсказывал бы как единственно верное решение: сел в автомобиль и погнал по шоссе в Залещики. Самюэль Лем с семьёй принял решение остаться в городе. Причины легко понять.

Ему было шестьдесят, и он уже болел. В 1936 году врач, который выявил у него стенокардию, порекомендовал ему избегать стресса и перенапряжения, и даже не наклоняться, чтобы завязать ботинки²⁸. Путешествие в таком состоянии может закончиться для него трагически, даже если это будут комфортные условия, а не мучения военных беженцев в колоннах, что составляли лёгкую цель для немецких самолётов.

Какое-то влияние на решение остаться могло оказать и то, что Самюэль Лем был австрийским офицером. Во время Первой мировой войны он служил в ранге имперско-королевского обер-лейтенанта, это аналог поручика в медицинском корпусе. Возможно, как и большинство поляков, в сентябре 1939 года он не боялся немцев так сильно, как должен был: ещё двадцать пять лет назад в немецкой армии он видел армию союзника. Немецкие солдаты отдавали бы ему честь как старшему по рангу. А от немецких офицеров он ожидал, что они будут джентльменами, как и он.

Удивление жестокости этих джентльменов можно увидеть во многих мемуарах того времени. Ванда Оссовская²⁹, медсестра-волонтёрка, описывает, например, изумление, когда немецкие лётчики игнорировали обозначенные знаками Красного Креста госпитали, согласно Женевской конвенции, которую принципиально соблюдали во время Первой мировой. До персонала госпиталя с опозданием дошла страшная истина, что те знаки не только не охраняют от немецкой бомбардировки, а, наоборот, являются целью для пилотов.

Первые бомбы упали на Львов 1 сентября в одиннадцать тридцать. В первый же день погибло семьдесят три человека, сто получили ранения³⁰. Станислав Лем описывает Фиалковскому, что видел фургон, вывозящий трупы:

²⁷ Stanisław Lem, *Zagłada i jej uvertura*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

²⁸ Stanisław Lem, *Powrót do prajęzyka?*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

²⁹ Wanda Ossowska, *Przeżyłam... Lwów – Warszawa, 1939–1946*, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.

³⁰ Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, I IX 1930–5 II 1946*, Katowice: Unia, 2007 – если не указано другого, то далее даты и факты, касающиеся военного Львова, подаются по этому источнику.

«Я стоял на балконе на Браеровской, парень после школы, и видел, как по нашей улице проехал фургон с наваленными горой трупами. Тогда я в первый раз видел трупы. Помню дрожащие от встряски фургона тела, бёдра женщин, убитых немецкой бомбой».

Балкон на Браеровской быстро перестал быть безопасным убежищем, с которого молодой Лем мог наблюдать за террором войны. Он стал точкой обороны Львова. Маленькая топографическая заметка: Браеровская является переулком, что отходит от улицы Городецкой³¹, широкой артерии, ведущей в направлении Городка. Нумерация начиналась от Городецкой, так что каменица Лема под номером 4 была первым зданием за углом. Из этого следует – балкон каменицы хорошее стратегическое место для пулемёта. Потому защитники Львова в начале войны осадили каменицу Лемов. Помещение вместе с балконом стало укреплённой огневой точкой. *«Я посидел немного с теми солдатами внизу, держа ручку сирены ПВО, а они давали нам зерновой кофе с сахаром»*, – вспоминал Лем в разговоре с Фиалковским.

Вскоре это положение оказалось выгодным, потому что немцы вторглись во Львов именно по улице Городецкой. 12 сентября механизированная группа Шёрнера, отделившаяся от первой горно-егерской дивизии вермахта, обошла польские укрепления и атаковала город с тыла. Её удалось отеснить после жестоких битв. Лем о них не вспоминает. Возможно, тогда он уже не жил на Браеровской, только на Сикстуской (сейчас улица Петра Дорошенко), у дяди Вольнера, к которому вся семья временно переселилась.

В это время 8 сентября из львовских кранов перестала бежать вода³². 14 сентября прекратилась подача газа, а 20 сентября погас свет³³. Для Самюэля Лема это была уже третья осада в его жизни.

Если верить тому, что Станислав Лем рассказывал Бересю и Фиалковскому, тогда он ещё не чувствовал никакой непосредственной угрозы. Он больше беспокоился о Польше, чем о собственной безопасности, потому что крах государственных структур сопровождался волной грабежей и убийств. *«Отец тут же повёл меня в магазин на площади Смолки, который был уже почти пуст и разграблен, но его владелец вытащил из какого-то закутка плащ в мелкую клетку. Это было очень мудрое предприятие, потому что после ничего приличного купить уже было невозможно»* – так Лем описал Бересю последние покупки в польском магазине.

18 сентября на подступах ко Львову появились первые советские войска. Население и защитники не знали, как это воспринимать. Некоторые думали, что Советский Союз вторгся, чтобы помочь Польше в битве с Германией – пакт Молотова – Риббентропа, согласно которому оба сумасшедших диктатора поделили между собой Восточную Европу от Румынии до Финляндии, был тогда ещё тайной. К удивлению польских защитников, 20 сентября немцы начали сдавать свои позиции русским, которые имели значительный перевес. Немцы атаковали Львов силами одной горной дивизии, русские ввели на эту территорию Восточную группу войск, что включала три дивизии кавалерии, две пехоты и три танковые бригады вдобавок. Дальнейшая оборона города не имела смысла.

Львов капитулировал 22 сентября в пользу русских – не немцев, что имело драматические последствия для офицеров и солдат, которые попали в плен. Формально это не называлось пленом, только интернированием, потому что СССР и Польша не находились в состоянии войны. Русские обещали полякам, которые сдавались, что после капитуляции отпустят их, и в определённом смысле их, конечно же, отпустили, хотя потом попытались всех поймать. Те, кто не убежал сразу, когда это было ещё возможным, были убиты во время катынского расстрела.

³¹ Современное название улицы.

³² Zbigniew Domosławski, *Mój Lwów. Pamiętnik czasu wojny*, Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie, 2009.

³³ Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944. Życie codzienne*, Warszawa: Książka i Wiedza, 2000.

Восемнадцатилетний Станислав Лем наблюдал за капитуляцией из квартиры дяди на Сикстуской. Он описывал это Фиалковскому как «своё самое ужасное переживание», что является удивительно сильным словом, если сравнить с тем, что он уже пережил в течение первых трёх недель войны (и что его ещё ожидало). Ведь в этой сцене не было ничего драматического. Русские, которые в воспоминаниях Лема имели «монгольские лица», просто разоружили польских солдат и сказали им «пашли вон»³⁴. Те покинули Цитадель (к которой из центра города вела улица Сикстуская) нестройной колонной. Он вспоминал:

«Они приказали нашим снять портупею, оставить всё, оружие и коней, и уходить. Это было страшно: видеть, как Польша пала, видеть это в реальности. Это страшней, чем проигранная битва, потому что всё происходило в какой-то гробовой тишине: все стояли молча и плакали, я тоже в арке под двадцать девятым домом».

Так началась первая из трёх оккупаций в жизни Станислава Лема. Он описывал это как смесь ужаса и гротеска. Советские оккупанты были культурно ниже львовских жителей. Первый раз в жизни они видели капиталистические магазины, элегантные рестораны и даже ванны с проточной водой, но коммунистическая идеология не позволила им в этом признаться.

Популярным львовским развлечением в то время было втягивание русских шутки ради в разговоры о том, что в Советском Союзе есть всё – и разумеется, лучше, больше и прекраснее, чем во Львове. Лем вспоминал это так: «А ископаемая шерсть у вас есть?», на что каждый русский отвечал автоматически: «Конечно, есть».

Ванда Оссовская³⁵ и Каролина Лянцкоронская³⁶ эту же шутку описывали так: «А у вас есть Копенгаген?» – «Да, конечно, у нас есть много копенгагена». Барбара Менкарская-Козловская³⁷, в свою очередь, цитирует другой диалог, в котором после толковых вопросов типа: «А лимоны у вас есть?», львовяне переходили к вопросам: «А холера у вас есть?», смеясь над русскими, которые механически кивали и на всё отвечали: «Да, есть».

Русские накинудились на львовские магазины. Офицеры старались вести себя культурно и даже платить, но совершались и регулярные грабежи. Общим было удивление оккупантов товарами, которые они впервые в жизни видели и не знали, для чего они нужны.

Лем с удовольствием вспоминал, как русские пытались есть косметику или нафталиновые шарики, потому что те выглядели аппетитно и иногда даже хорошо пахли, поэтому они принимали их за сладости. В других интервью я прочитал о первом контакте красноармейцев с детскими погремушками, зубными щётками и сантехникой. Львовян смешили жены русских командиров, щеголявшие по городу в шёлковых ночных сорочках, которые они принимали за вечерние платья.

Русские также интересовались врачами, что оказалось очень важным для семьи Лема. Медицина в СССР была, как и всё, на низком уровне. Приезжающие во Львов чиновники, военные, убэшники³⁸ хотели лечиться сами и лечить своих родных у польских врачей, потому что оказались в привилегированном положении. Поляков часто выселяли из дорогих квартир, чтобы освободить помещения для высокопоставленных чиновников, но «жилплощадь врачей была неприкосновенна», вспоминает Лянцкоронская. Как максимум к ним могли кого-то доквартировать, но на вполне цивилизованных условиях.

³⁴ Это, кстати говоря, общее для других свидетельств вхождения русских во Львов – рефреном возвращается в этих описаниях удивление жалким видом победителей и их чертами лица, описываемыми как «монгольские» или «калмыцкие».

³⁵ Wanda Ossowska, *Przeżyłam... op. cit.*

³⁶ Karolina Lanckorońska, *Wspomnienia wojenne*, Kraków: Znak, 2007.

³⁷ Barbara Męcarska-Kozłowska, *Burza nad Lwowem*, Warszawa: Polska Fundacja Kulturalna, 1996.

³⁸ От УБ – управление безопасности.

Так случилось и с Лемом. К ним подселили энкавэдэшника по фамилии Смирнов, который вёл себя со своими хозяевами не как оккупант. Когда он появился на Браеровской впервые, Сабина Лем выставила его за двери. Вместо того чтобы ворваться в квартиру силой, Смирнов просто вежливо подождал, пока доктор Самюэль Лем вернулся с работы и объяснил жене это недоразумение.

До конца сентября новые квартиранты, такие как Смирнов, появились в тысяча четырёх квартирах, переданных в распоряжение Красной армии и НКВД³⁹.

Обычным делом было просто выбрасывание на улицу бывших владельцев квартир, тем более что те, у кого были дорогие жилища, по сути считались «классовыми врагами».

Во второй половине декабря дошло до массовой национализации львовских каменниц.

Вместе с недвижимостью у жителей забирали также большое и малое движимое имущество, от бижутерии до фортепиано. Жертвы конфискации взывали к советской конституции, которая защищала такие формы собственности. Им отвечали, что конституция защищает только на тех территориях, на которых царит порядок, а во Львове его ещё не навели, так что нет и конституции⁴⁰.

Лемам очень повезло со «своим» энкавэдэшником, который довольствовался лучшей комнатой на Браеровской – гостиной, в которой не так давно маленький Сташек строил манекены из отцовской одежды и конструировал экспериментальные машины. Когда Смирнов убежал из Львова перед наступлением немецких войск, семья зашла в комнату и нашла там много страниц со стихами, написанными от руки, которые Лем не успел прочитать. Тогда у него были другие дела.

Первую советскую оккупацию семья Лемов перенесла довольно безболезненно, вероятно, потому, что Самюэль Лем много лет назад выбрал карьеру врача, отказавшись от литературных увлечений. Возможно, он так поступил из-за родителей, так, по крайней мере, вспоминал Станислав Лем. Если это правда, это повторилось и в следующем поколении.

Станислав Лем мечтал учиться во Львовской Политехнике, и война этого не изменила. Только советская оккупация сделала его планы нереальными – из-за его буржуазного происхождения его не приняли в университет. Отец использовал свои связи на факультете медицинского университета Яна Казимира, чтобы зачислить сына в ряды студентов первого курса.

Положение львовских учебных заведений под советской оккупацией было настолько сложным, что, с одной стороны, новые власти стремились к быстрой советизации и украинизации университета и политехники; с другой – не хотели упустить шанс подготовки врачей и инженеров в учебных заведениях, которые ещё какое-то время назад считались лучшими в мире.

Потому на многих гуманитарных направлениях были проведены «грязные чистки» в сталинском стиле, теологический факультет просто ликвидировали, но политехника и медицинский до конца советской оккупации оставались в польских руках. Они даже были профинансированы и доукомплектованы. А также был сделан ремонт, который в независимой Польше откладывался бесконечно долго из-за нехватки средств⁴¹.

Однако это не означало, что точные науки полностью избежали террора советизации. Он был ощутимым, хотя немного мягче, если такое сравнение уместно. Были арестованы три профессора (Эдвард Геслер, Станислав Фризе и Роман Ренцкий, этот третий был убит гитлеровцами в бойне львовских профессоров, другие двое пережили войну и создавали науку в

³⁹ Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944... op. cit.*

⁴⁰ Karolina Lanckorońska, *Wspomnienia wojenne, op. cit.*

⁴¹ Tadeusz Tomaszewski, *Lwów. Pejzaż psychologiczny*, Warszawa: WIP, 1996 – это воспоминания психолога мировой славы, который всю оккупацию пытался сохранить имущество и защитить сотрудников Университета Яна Казимира. Книга являет собой интересный исследовательский материал, касающийся академической жизни того времени.

ПНР). На факультете права университета Яна Кохановского в Кельцах до апреля 1940 года были арестованы семь профессоров и четыре ассистента⁴².

Чтобы поощрить советских студентов учиться именно во Львове, им платили довольно высокие стипендии и предоставляли бесплатное обучение (во что сейчас трудно поверить, но учёба была бесплатной во Второй Речи Посполитой и платной в СССР)⁴³. Лем пишет Фиалковскому, что «все студенты первого курса получали стипендию в размере 150 рублей». Историк Гжегож Грицюк пишет, что не все, а только 75 % и это было 130 рублей⁴⁴. Так или иначе, Лем на первую стипендию купил себе «трубку Гейслера» (примитивный неон, светящийся разными цветами), это ясно показывает, что пока ещё семья Лема не ощущала нехватки средств.

Про фиаско советизации в университетах точных наук свидетельствует статистика кадров – под конец русской оккупации в медицинском университете работали тридцать польских профессоров и только пять русских. Одним из них был преподаватель физиологии Воробьёв, с которым Лем будучи студентом сотрудничал как ассистент-волонтёр.

Лем вспоминал Фиалковскому про студентов из своего курса как про «дикую смесь» поляков, украинцев и приезжих из российской глубинки. В его воспоминаниях упоминаются «некий Синельников, обвешанный значками типа «Готов к труду и обороне», и «подружка Кауфман», которая «жидлячила» (то есть говорила на практически мёртвом сегодня языке – еврейский жаргон польского языка, из которого сохранились только некоторые шуточные выражения)⁴⁵.

Статистически выглядело так, что на первом курсе медицины было триста сорок студентов (а не четыреста, как Лем сказал Фиалковскому). 48 % составляли украинцы, 32 % – евреи, 16 % – поляки, 4 % – остальные, прежде всего «граждане Советского Союза»⁴⁶. Я не могу сказать с полной уверенностью, к какой группе причислен был Станислав Лем, но, скорее всего, не к полякам.

Во многих разных архивах Лем и его семья фигурировали как «евреи» или «еврейского происхождения». В гимназии предмет «религия» был обязательным и Лем изучал заповеди Моисея⁴⁷, что было достаточным аргументом, чтобы признать его евреем – с точки зрения и нюрнбергского закона, и национальной политики СССР. Новая власть благосклонно относилась к зачислению студентов польского происхождения, потому хорошо было предъявить любую бумагу, подтверждающую еврейское или украинское происхождение, – процент поляков в этих документах занижен, хотя всё тут зависит от определения «настоящего поляка».

Это определение – это тема для другой книжки, написанной определённо другим автором, но, глядя на это с сегодняшней точки зрения, я сказал бы, что большинство тех людей были всё ещё гражданами Второй Речи Посполитой. Навязанное им оккупантами гражданство СССР не имело законной силы, аналогично как при обеих оккупациях произвольное разделение польских граждан на «поляков», «евреев» и «украинцев».

Я не собираюсь идеализировать Вторую Речь Посполитую, в ней также делили людей согласно национальным критериям. Во львовских учебных заведениях уже с 1935 года для еврейских студентов вступала в силу система «гетто за партами». Тем не менее во Второй Речи Посполитой существовали пути успешной карьеры для национальных меньшинств. Хотя бы взять карьеру Владимира Питулея, который перед войной был начальником охраны Пилсудского и комиссаром государственной полиции, а в оккупированном немцами Львове

⁴² Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944... op. cit.*

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Вообще-то «жидлячить» – это говорить по-польски с еврейским акцентом, а еврейского жаргона польского языка не существует. – *Прим. ред.*

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

он стал начальником коллаборационной украинской вспомогательной полиции, вызывающей ужас среди поляков.

По сегодняшним критериям они все были поляками, что подтверждал паспорт с орлом в короне, независимо от того, какую национальность их заставили выбрать оккупанты в 1939 году. Поэтому я буду в этом разделе использовать такие определения, как «евреи», «поляки» или «украинцы», помня, что все они действительно были гражданами Речи Посполитой Польши, которые ещё летом 1939 года, отправляясь на променады к львовской опере, обменивались любезными поклонами. Разделение их согласно национальным квотам и приращение этим группам своеобразных привилегий – «этих не примем в университет, а тем дадим квартиры» – началось во время советской оккупации и только усилилось во время немецкой. Когда сегодня мы наблюдаем дискуссию типа «евреи против поляков против украинцев», это лишь печальный результат политики двух оккупантов.

Лем не хотел рассказывать про свои еврейские корни, потому его воспоминания о том периоде полны пробелов и увёрток. Во втором издании интервью с Бересем появляется характерный фрагмент, в котором на вопрос, был ли он свидетелем творящегося вокруг истребления польского элемента, ответ Лема полон отступлений и рассказов о советских сладостях (невкусных) и циркачах (совсем неплохих). На это нетерпеливый Бересь восклицает: «Ради бога, расскажите о советской оккупации, а не о выступлениях циркачей!», на что получает в ответ очередное отступление. В первом издании книжки вся эта тема просто отсутствовала⁴⁸.

«Истребление» – это не преувеличение. Представителей польской элиты НКВД начал арестовывать сразу после вторжения в город. В ночь с 9 на 10 декабря 1939 года началась первая волна массовых арестов. Было задержано несколько тысяч человек, среди них известные виноделы Стефан и Адам Бачевские, довоенные судьи и прокуроры, а также довоенные премьер-министры (Александр Прыстор и Леон Козловский). В ночь с 23 на 24 января 1940 года провели волну арестов даже среди левых литераторов (среди них – Владислав Броневский), потому что, по мнению Сталина, левые независимые от НКВД хуже, чем правые. Вина всех тех людей состояла исключительно в том, что они принадлежали к польской элите.

В воспоминаниях Станислава Лема эта тема странным образом отсутствует. Я не могу сказать, что ее нет вообще. Мы, например, узнаём, что, когда семья Лемов видела, что Смирнов готовится к очередной ночной вылазке и уходит из дома, они бежали предостеречь близких. Они помогали им прятаться в библиотеке на Браеровской. Только это всё Лем представляет так, словно речь идёт о какой-то игре, а не о непосредственной угрозе жизни (а много поляков, арестованных ночью НКВД, просто исчезали без следа, и даже сейчас мы не всегда знаем точную дату и место их смерти).

Могу только догадываться, что это был какой-то психологический механизм защиты, подобный тому, которым Лем нейтрализовал воспоминания со времён немецкой оккупации. Речь не в том, что он не хотел вспоминать, потому что ничего не помнил, дело в том, что он слишком хорошо все это помнил. Но это только мои домыслы, базирующиеся на хрупких предположениях – таких, как удивление от факта, что ужас, присутствующий в других львовских воспоминаниях, практически не встречается в рассказах Лема. В равной степени этот парадокс можно объяснить и тем, что изучать медицину довольно тяжело, и к тому же мы имеем дело с амбициозным студентом, который беспокоился не только о хороших оценках, но и о том, чтобы они свидетельствовали о его усердно добытых знаниях.

Показательным является анекдот, который он рассказывал Фиалковскому, про то, как нашлись его документы с двух курсов обучения. Немцы, после взятия города, ликвидировали университет и все бумаги приказали выкинуть на мусорку. Их нашёл «архивариус бернардинцев», который «погрузил их на тачку и перепрятал». Располагая всеми печатями и бланками,

⁴⁸ Stanisław Bereś, *Rozmowy ze Stanisławem Lemem*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.

он помогал, при случае, студентам «сдать» какой-то дополнительный предмет или даже весь год обучения. Лем отказался от его услуг, а архивариус «смотрел на него как на дурака».

Это всё происходило, когда вокруг Лема уже гибли люди и разворачивались другие драмы. Однако даже в такое время он не забывает про честь польского студента. Неужели учёба захватила его настолько сильно, что он не думал ни про что другое, кроме охоты за сладостями (не было уже халвы, довольствовались популярными в СССР сушёными абрикосами, называемыми урюком) и редкими походами в кино или цирк?

Бересю он рассказывал, что непосредственную угрозу ощутил только раз. Будучи уже студентом, он продолжал своё хобби со времён гимназии – и дальше проектировал машины и танки и фотографировал эти модели. Вопреки запрету отца он отнёс эти фотографии на проявку в салон, и когда вернулся за снимками, его уже ждал кто-то из НКВД, но, к счастью, этот кто-то позволил ему объяснить, что это только невинное детское увлечение. Худшей ситуацией в тогдашнем Львове были беженцы. В 1939 году во Львове находилось несколько десятков тысяч беженцев, которые чаще всего прятались от немцев (но иногда от собственных соседей из охваченной анархией провинции). Часть из них хотела уехать из Львова в Генерал-губернаторство, так как у них там были родственники, а немцев они боялись меньше, чем русских; часть наоборот: Гитлера боялись больше Сталина. Причины могли быть самыми разными: от еврейского происхождения до тоски по близким.

Беженцам негде было жить и не на что. Иногда их принимали польские семьи, подкармливали на так называемых народных кухнях, вводимых польским Комитетом Социальной Помощи. Однако весной 1940 года оккупант окончательно разрешил проблемы беженцев и предложил им специальные советские паспорта. С тех пор беженцами считали тех, у кого не было такого паспорта – или они сами отказывались его получать (например, из-за патриотических взглядов или в надежде уехать в Генерал-губернаторство), или чиновники отказывались им его выдавать (хотя бы по причине довоенной политической деятельности). Беженцем в тогдашнем значении был тот, кого так классифицировала советская власть. В середине июня 1940 года началась их массовая ссылка, которая проходила очень драматично, даже доходило до самоубийств⁴⁹.

Непосредственно Лема это не коснулось. Во время первой оккупации Львова ему удалось сохранить привычки молодого человека из свободной Польши – его наибольшим увлечением так и оставалось конструирование экспериментальных машин. Вторая, немецкая, оккупация города всё драматически изменит. С первого дня непосредственная угроза жизни станет для Лема ежедневным переживанием.

Немцы атаковали Советский Союз внезапно 22 июня 1941 года. Первые бомбы падали на Львов перед рассветом в 3:25. В тот день погибло около трехсот человек, в том числе многие в торговом пассаже Миколяша⁵⁰, про который Лем пишет в «Высоком Замке». Из описанных Лемом мест это не уцелело – руины пассажа до сегодняшнего дня так до конца и не расчистили. Послевоенные власти построили на этом месте ужасное здание, но оно не заполнило всё пространство, которое занимал старый пассаж.

Остался не то странный дворик, не то развалины, в которых без труда узнаются следы фундамента довоенных магазинчиков.

Это всё находилось в нескольких минутах ходьбы от квартиры Лемов. Но более страшные сцены разыгрывались ещё ближе. С балкона на улице Браеровской был виден кусок мрачного, серого здания с замурованными окнами. Это был старый женский монастырь Св. Бригитты, с конца XVIII века он служил тюрьмой (как и сегодня).

⁴⁹ Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944... op. cit.*

⁵⁰ Там же.

Львов лежал в каких-то ста километрах от границы, обозначенной согласно пакту Молотова – Риббентропа. Советская власть после немецкой атаки впала в панику. Больше всего запаниковали представители силовых ведомств, которые лучше всего знали о состоянии готовности оборонительных военных сил СССР, ожидая нападения врага в любую минуту.

Началась поспешная эвакуация, ужаснейшим элементом которой стала ликвидация львовских тюрем. Сначала план был таким, что все невыполненные смертельные приговоры приводились в исполнение немедленно, а остальных заключённых вывозили в лагеря в глубь страны. В первый день войны было убито около сотни заключённых, а тысячи были вывезены. В то же время в самих Бригидках было 3688 заключённых⁵¹.

Во второй день войны, 23 июня 1941 года, начальник львовского НКВД принимает решение оставить город. Заключённых было решено закрыть в камерах. Ночью с 23 на 24 июня заключённые в Бригидках поняли, что за ними никто не следит, и попытались выбраться наружу. Некоторым удалось выбить двери и выйти во двор тюрьмы, но только единицам удалось выйти за ворота. Побег пресёк патрулирующий улицы военный отряд, который автоматными очередями загнал заключённых назад в камеры. Погибло несколько десятков людей.

В тот же день НКВД вернулся в тюрьмы, чтобы уничтожить оставшихся заключённых. В Бригидках часть «криминальных» были выпущены на свободу, потому что в распоряжении говорилось, что уничтожить нужно только «политических» (которые составляли большинство). В других тюрьмах были убиты все без разбора, часто просто из-за взрыва гранаты в камерах. Даже там, где разделение происходило, из-за нехватки времени оно было поверхностным, не проводилось никакого учёта, потому до сих пор неизвестно, сколько людей погибло во львовских тюрьмах за эти несколько страшных дней.

В Бригидках экзекуции длились три дня, с 24 по 27 июня. В ночь с 27-го на 28-е НКВД покинул тюрьму навсегда. Остались там только несколько сотен истощённых заключённых (которые несколько дней не получали ни еды, ни питья, не убирались их ведра, так называемые параша) и несколько тысяч трупов в подвалах.

Часть узников убежала ещё в субботу 28 июня. В ночь с 28-го на 29-е здание сгорело. Кто поджёг, неизвестно. Отступающие русские? Обстреливающие город немцы? Возможно, это сделали сами узники, чтобы тюремные архивы не попали в руки следующих оккупантов⁵².

Первая немецкая военная часть вступила во Львов уже 30 июня. Это был сформированный из украинцев специальный батальон Нахтигаль. Его связь с айнзатцгруппой, специальным подразделением СС и полиции, созданным с целью окончательного решения еврейской проблемы на захваченных территориях, была после войны предметом горячих споров, разбирательство которых выходит за рамки этой книги и компетенции её автора. Точно известно, что под командованием бригадефюрера Отто Раша, айнзатцгруппа двинулась во Львов из Глейвиц (ныне Гливице) через Краков на следующий день после нападения Германии на СССР, 23 июня 1941 года, и это она прежде всего ответственна за организацию погромов – даже если приказы Раша выполнял кто-то другой.

Как немцы из айнзатцгруппы должны были отличать евреев от неевреев? Немцы сами этим не занимались, разве что в крайних случаях. Наиболее охотно – и не только на Украине – их заменяли местные жители, подстрекаемые пропагандистскими лозунгами, что евреи ответственны за коммунистические злодеяния. Такие, как в Бригидках.

Жители Львова сначала не могли поверить в зверства НКВД. Сталинский режим действовал тайно, скрывая свою жестокую природу. 30 июня не все ещё были готовы к страшной правде, что во львовских тюрьмах разлагаются трупы тысяч людей. Некоторые – уже неделю в летней жаре, а к тому же вблизи пожара. Прежде чем львовяне воочию убедились в размерах

⁵¹ Там же.

⁵² Там же.

трагедии, их просветила вонь разлагающихся трупов. Немцы открыли тюрьмы и заявили, что виновны в этом злодеянии – как и во всех других, сделанных коммунистами, – евреи. И они должны быть за это наказаны. Начался погром.

Это обвинение было абсурдным. Поскольку среди заключённых немалую часть составляли евреи, хотя бы родственник Лема, Генрик Хешелес, главный редактор популярной довоенной газеты «Chwila». В Бригидках НКВД пытало его и выпустило за несколько месяцев до немецкой атаки. После открытия тюрем он стал жертвой антисемитского погрома. Возможно, в последние дни жизни он увидел среди трупов, вынесенных из подвалов Бригидок, лицо своего коллеги из редакции «Chwila», Леона Вайнштока⁵³.

Погромы руководствуются своей логикой преступного абсурда, этот погром не был исключением. Во Львове организовали его под немецким руководством украинские боевики, сторонники Андрия Мельника и Степана Бандеры, а также обычные мерзавцы, в том числе польского происхождения.

В статьях о тех событиях сильнее всего пугают меня дети – шестилетние мальчики, которые охотно присоединились к погрому, чтобы по мере своих скромных возможностей способствовать построению немецко-украинского союза, «вырывая волосы из женских голов и стариковских бород». Именно это наблюдала ненамного старше этих мальчиков дочь Генрика Хешелеса Янина⁵⁴ уже после того, как её отец на прощание послал ей последний воздушный поцелуй, идя на верную смерть.

Украинские боевики хватали евреев просто на улице, под предлогом выносить сгоревшие и разложившиеся трупы из подвалов тюрем. В реальности для того, чтобы избивать и убивать особ, идентифицированных как евреи.

Как во время массового убийства бывает, идентификация была далека от точности. Янина Хешелес описывает, например, подругу семьи «пани Ньюню Блауштайн», которая с самого начала погрома умоляла Генрика не выходить из дома и поведала, что сама чудом избежала смерти, обманув схвативших её украинцев, сказав, что возвращается из католического костёла. Обман прозвучал правдоподобно, потому что 1 июля, когда начался погром, было воскресенье.

Профессор Тадеуш Томашевский встретил в то же время на улице Сикстусской знакомую, «Маню Сусуловскую, вне себя от страха». Она шла по улице с двумя своими знакомыми. Их схватили какие-то гражданские – Сусуловская выдала себя за арийку, и ее отпустили, а тех двоих забрали «неизвестно куда» (из дальнейшего содержания книжки ясно, что одну из них потом нашли, сильно избитую; а о второй больше не упоминалось)⁵⁵.

Главным оружием боевиков были деревянные и металлические палки, которыми они избивали свои жертвы до смерти. Стены тюрьмы были забрызганы кровью и мозгами аж до второго этажа. Много свидетелей видело это, и что самое невероятное, немцы фиксировали это на многочисленных фотографиях и в фильмах⁵⁶.

Станислав Лем находился среди жертв погрома. К счастью, не среди смертников, он был в группе евреев, которых сначала отправили выносить трупы, а потом неожиданно отпустили по немецкому приказу, который и остановил погром. О том, что Лем тогда пережил, он не рассказывал даже ближайшим родственникам, но оставил шокирующее описание в повести «Глас Господа». Один из героев, математик Раппопорт, который после войны эмигрировал в США, в один момент довольно неожиданно – необоснованно по сюжету – делится с рассказчиком романа, профессором Хогартом, своими военными воспоминаниями.

⁵³ Janina Heschel, *Oczyrna dwunastoletniej dziewczyny*, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2015.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ Tadeusz Tomaszewski, *Lwów... op. cit.*

⁵⁶ Эти материалы показал Михаэль Празан в ужасающем документальном фильме «Einsatzgruppen. The Death Brigades», Франция 2009.

«Глас Господа» – это история о шифрах, в которой Лем закодировал очень много автобиографических данных. Вероятно, это самая автобиографическая повесть автора из всех существующих.

Лем не хотел говорить, что был жертвой погрома, потому что это привело бы к разговорам про его еврейские корни, про которые он никогда не говорил публично. Впрочем, и сам погром в 1941 году в ПНР был запретной темой. Даже сейчас разговор об этом встречает резкий отпор, как, например, поляки реагируют на Едвабне или страны Балтики отказываются отвечать за коллаборацию с немцами. Лем про львовские погромы не мог писать открытым текстом, да и не хотел. Но давайте посмотрим на его шифр.

Раппопорт рассказывает Хогарту, как ждал смерти во время «одной массовой экзекуции – кажется, в 1942 году – в его родном городе»⁵⁷:

«Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомблённой тюрьмы, одно крыло которой ещё горело. [...]

Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, – кричал он это по-еврейски (на идиш), видимо, не зная немецкого языка. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации; и тут всего важнее для него стало сбегать до конца ясность сознания [...]. Он решил уверовать в перевоплощение хотя бы на пятнадцать-двадцать минут – этого ему бы хватило. Но уверовать отвлечённо, абстрактно не получалось никак, и тогда он выбрал среди офицеров, стоящих поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом. [...]

Сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, он перевоплотится в этого немца. [...]

Тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки, выстрелы тотчас смолкли. Раппопорт так и не узнал, что произошло. Быть может, немцы собирались заснять груды трупов для своей кинохроники, изображающей бесчинства противника (дело происходило в ближнем тылу Восточного фронта). [...]

Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Потом офицер с платочком потребовал одного добровольца. И вдруг Раппопорт понял, что должен выйти вперёд. [...]

Без сложных силлогизмов [он] мог понять: если никто не вызовется – расстреляют всех, так что вызвавшийся, собственно, ничем не рискует. [...]

Уже смеркалось, когда открыли огромные ворота и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечернего холода, высыпали на пустынную улицу.

Сперва они не смели убежать, – но немцы больше ими не интересовались. Раппопорт не знал почему; он не пытался анализировать действия немцев; те вели себя словно рок, чьи прихоти толковать бесполезно».

Написав «кажется, в 1942 году», Лем отодвинул непосредственную ассоциацию с погромом в 1941 году. Теперь мы можем себе представить профессора Раппопорта как (к счастью, несостоявшуюся) жертву уличных облав, которых было много на территориях Генерал-губернаторства или на оккупированных территориях СССР. Но чтобы совсем не соврать, повествователь добавляет это «кажется».

⁵⁷ Здесь и далее все цитаты приведены по тексту: С. Лем, «Глас Господа», пер. с польск. Р. Нудельмана, А. Громовой, К. Душенко.

«Кажется», а не приблизительно, или около того, или, может, в 1941-м. Хогарт, который рассказывает нам историю Раппопорта, с перспективы своей относительно безопасной жизни в Америке не обязан вникать в наши восточно-европейские нюансы. Для него разница между 1941 или 1942 годами это как разница между годами выхода диснеевского «Дамбо» и «Бемби».

Дальше: после первого прочтения нам кажется, что всю экзекуцию выполняли исключительно немцы. Я был в этом убеждён, читая «Глас Господа» впервые ещё ребёнком, и это убеждение сопровождало меня и во время чтения других произведений автора. Лишь когда жизнь Лема стала меня интересовать не меньше, чем его творчество, я обратил внимание на интересную закономерность, использование характерных глагольных форм в этом фрагменте.

Присмотримся ещё раз к ключевым фразам, описывающим облаву и экзекуции: «схватили на улице», «расстреливали группами», «открыли большие ворота». Кто схватил? Кто расстреливал? Кто открыл?

Лем, естественно, не мог написать, что это сделали украинцы. Но также он не написал, что это сделали немцы. То, что это преступление совершали немцы, додумывает себе уже читатель, обманутый мастерской игрой писателя, ловко жонглирующего глагольными формами, чтобы и не обмануть, и много правды не написать.

Немцы во время всех этих погромов, естественно, присутствовали, но – как это Лем описывает – «стоящие поодаль», потому что всё это была безжалостная церемония, которую местное население давало в их честь, в надежде (впрочем, зря) на благосклонность нового оккупанта. Везде, где немцам удавалось направить события так, чтобы кровь убитых евреев осталась на литовских, латышских, эстонских, польских, украинских или белорусских руках, они старались заснять или задокументировать это, чтобы в пропагандистских репортажах показать себя как представителей цивилизованного народа, с удивлением наблюдающих за восточно-европейскими варварами.

Какие из воспоминаний Раппопорта были воспоминаниями самого Лема? Когда я спросил про это Барбару Лем, то она лаконично ответила: «Все»⁵⁸. В книге Томаша Лема есть информация, что «вонь, которой пропиталась его [Станислава Лема] одежда, была такой страшной, что её пришлось сжечь».

О том, что случилось с семьёй Лема дальше, информация ещё больше фрагментарная. 7 июля 1941 года оккупационные власти огласили указ про ношение лент или заплат со звездой Давида для всех евреев «до третьего колена», а также особам, состоящим в браке с евреями. В течение нескольких ближайших дней несколько сотен людей были убиты в назидание за отсутствие звезды Давида.

Станислав Лем какое-то время носил такую метку, но никогда в жизни не признал этого публично. Он рассказал об этом только своей жене, и тоже не прямо. Он начал с того, что какой-то немец дал ему пощёчину за то, что Лем не снял в его присутствии шапку. Поляки во Львове не должны были этого делать, поэтому Барбара Лем догадалась, что её будущий муж должен был тогда носить звезду Давида⁵⁹.

В какой-то момент во второй половине 1941 года семья Лема снова должна была оставить квартиру на Браеровской и переехать сначала на улицу Бернштайна (сейчас Шолом-Алейхема), а потом разделиться: родители поселились в районе Знесень, а сын – на улице Зелёной (она практически не изменила название – сейчас называется Зэлэна).

На улице Бернштайна жил брат Самюэля Лема Фредерик Лехм, в «Высоком Замке» он описан как «дядя Фриц»⁶⁰. Так мы доходим до самой болезненной части этой книги: дальнейшей судьбы семьи Станислава Лема. Про это он ни с кем публично не разговаривал. В доку-

⁵⁸ Барбара Лем, разговор от 19.06.2015 в Кракове.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy... op. cit.*

ментальном фильме Ежи Яницкого он сказал только одну, очень многозначительную фразу: «А потом начали исчезать мои самые близкие»⁶¹, после чего идет монтаж. Исключение он сделал в семидесятых годах для Владислава Бартошевского, который поведал воспоминания Лема про «дядю врача», который «был убит в Кельце 4 июля 1946 года»⁶².

Почти наверняка Бартошевский перепутал рассказы о двух разных людях. Про дядю, убитого во Львове (скорее всего, это Марек Вольнер), и про доктора Северина Кахане, председателя Еврейского комитета в Кельце и одного из жертв келецкого погрома. Кахане был племянником «дяди Фрица» и, скорее всего, какое-то время скрывался вместе с Лемом в квартире на Бернштайна⁶³.

Дяди и тети, перечисленные в «Высоком Замке», погибли в течение нескольких месяцев немецкой оккупации. Для Станислава Лема это не были далёкие, мало знакомые родственники. Это был дядька, который в детстве, чтобы подсластить Сташеку визит к дантисту, устроил праздничную поездку на дрожках. Ещё был богатый дядя, который финансировал Сташеку покупки, перерастающие финансовые возможности отца. Это были тётки, награждающие его сладостями за хорошую декламацию стихов.

Для Самюэля и Сабины Лемов это был весь их мир. Из «Высокого Замка» видно, что перед войной каждую свободную минуту они проводили с родственниками. То, что они чувствовали во время войны, я не могу описать. Лем избегал разговоров на эту тему. Когда про это попытался спросить Томаш Фиалковский, Барбара Лем лично попросила его, чтобы он больше про это с её мужем не говорил, потому что «Сташек не может после этого спать»⁶⁴.

Источником, который позволяет, по крайней мере, попытаться представить себе эту трагедию, является литература; в 1950 году Лем написал на эту тему роман под названием «Среди мёртвых». Это второй том трилогии «Неутраченное время», первым томом которой является написанный в 1948 году роман «Больница Преображения».

Лем многократно отгораживался от «Среди мёртвых» и «Возвращения», третьего тома трилогии. С 1965 года он не позволял их переиздавать. Бересю он презрительно заявлял, что эту книгу из него «выдавили», и старался представить это как плату за издание первого тома, единственного, за который он действительно переживал. Что-то типа расчётливого трюка, одного из многих, к которым должны были прибегать писатели при сталинизме. В свете сегодняшних знаний я допускаю, что отвращение Лема к роману «Среди мёртвых» имело другие причины. И речь не в том, что Лем писал его равнодушно и по расчёту. Как раз наоборот, именно во втором томе он раскрылся слишком сильно.

Прежде всего действие происходит во Львове. Естественно, как и в «Гласе Господа», об этом не говорится прямо, но шифр тут разгадывается ещё легче. В апогей сталинизма невозможно было написать книгу с тактическим расчётом и вместе с тем разместить действие сюжета во Львове. Или – или.

В «Больнице Преображения» Лем разместил своё *alter ego*, Стефана Тшинецкого, молодого врача, которому в романе столько лет, сколько было Лему на момент его написания, но действие происходит на несколько лет раньше, герой и автор не являются метрическими ровесниками. Но метрический ровесник появляется во втором томе. Это Кароль Владимир Вильк, очередное *alter ego* Лема, но в этот раз идеальное.

Насколько Тшинецкий разделяет сомнения и беспомощность Лема, настолько Вильк является настоящим техническим гением и тем, кто в отличие от Тшинецкого, погибает во время войны, но в тюрьме под пытками совершает какое-то расплывчатое физико-математиче-

⁶¹ «Obłok Magellana» nad Lwowem [odcinek serialu Salon kresowy], reż. Jerzy Janicki, Polska 2003.

⁶² Władysław Bartoszewski, Michał Komar, *Prawda leży tam, gdzie leży*, Warszawa: PWN, 2016.

⁶³ Agnieszka Gajewska, *Zagłada i gwiazdy... op. cit.*

⁶⁴ Томаш Фиалковский, разговор от 25.08.2015 в Варшаве.

ское открытие, что даст человечеству возможность полететь к звёздам, и таким образом получает горадиевское бессмертие.

Уступкой Лема на тему обязательного социалистического реализма поэтики была биография Вилька – сироты-самоучки, технический талант которого открыл кто-то, кого Лем списал со своего коллеги (он говорил Бересю: «превратил своего коллегу в коммуниста Марцинова»).

«В марте 1942 года написал ему Марцинов. Он получил адрес мальчика случайно, от какого-то шофёра [...], предложил ему приехать в город, обещая квартиру и работу на фирме, в которой сам работал», – пишет Лем в проклятом романе. Название города тут не попадает, но обратите внимание на то, когда Вильк получает письмо.

Перед войной Вильк жил в окрестностях Тарнова. Это означает, что в 1939–1941 годах от Львова его отделяла немецко-советская граница, но 1 августа 1941 года Львов вошёл в Генерал-губернаторство.

Украинцы приняли это с отчаянием, потому что это означало конец их фантазии о независимой Украине, объединённой с Третьим рейхом наподобие государств-марионеток, таких как Словакия или Хорватия. Поляки вздохнули с облегчением, возможно, преждевременно, но из этих дат следует, что если Марцинов на самом деле искал контакт с Вильком, то, скорее всего, только на переломе 1941 и 1942 годов он мог его установить через случайного шофёра (лишь 1 ноября 1941 года были уничтожены границы между Галицией и Генерал-губернаторством).

Фирма, в которой работал Марцинов и куда по его рекомендации приняли Вилька, называлась *Rohstofffassung*. Эта информация уже точно переносит действие романа во Львов, потому что реально существовала фирма с таким названием. Она появляется, например, в цитированной тут неоднократно книге Янины Хешелес «Глазами двенадцатилетней девочки»; о своей работе в этой фирме Лем также рассказывает Бересю уже в первом, цензурированном, издании интервью. В то время как в самом романе «Среди мёртвых» мы читаем:

«На фирме работали почти все евреи. Большинство составляли нищие, подбирающие отходы по мусоркам, меньшинство – сливки местного еврейства, купцы, фабриканты, адвокаты и советники. Согласно трудовым картам они были старьёвщиками и получали копеечную зарплату, а на самом деле платили Зигфриду Кремину за то, что тот прятал их, а платили так щедро, что из того источника текли в карман директора самые большие доходы. Они сами работали в офисе [...], занимались одновременно изготовлением арийских бумаг и продажей и покупкой валюты и золота».

Кремина звали не Зигфрид, а Виктор, но Лем не изменил его фамилию. Он был одним из доверенных лиц (*Treuhander*), которые от имени СС присваивали еврейское имущество на территориях, захваченных Третьим рейхом. Его арестовали в Лодзи после войны, но оправдали благодаря показаниям евреев, которым он спас жизнь⁶⁵.

Виктор Кремин был дружен с начальником полиции в Генерал-губернаторстве Одило Глобоцником, и это объясняет, почему бумаги, которые он изготавливал, имели такую силу, даже если все знали, для чего в действительности они были нужны⁶⁶. До того как немцы заняли Львов, Кремин успел создать в Люблине небольшую официальную империю, которая занималась поисками вторичного сырья (тряпье, металлолом, макулатура). В действительности, спа-

⁶⁵ Brigitte Waks-Attal, Irena Gewerc-Gottlieb, воспоминания свидетелей истории записаны благодаря Обществу «Brama Grodzka» в Люблине, teatrn.pl/hi-storiamowiona/index/swiadczenie (dostęp 28.02.2017).

⁶⁶ Кремина нет в биографиях Глобоцника авторства Берндта Ригера, потому, вероятно, это не была близкая дружба, но, в свою очередь, без каких-либо знакомств Кремин не мог бы работать так, как работал. Источником информации об их дружбе являются рассказы выживших.

сённые им евреи платили ему, осуществляя невероятно прибыльную торговлю краденными драгоценностями.

Как Лем там оказался? Как мастер играть со своими собеседниками, он объяснил Бересю это так:

«Всё лето сорок первого года семья решила, что со мной делать: немцы закрыли все учебные заведения, а я совершенно не хотел заниматься канцелярской работой. И тогда через какого-то знакомого отца мне удалось устроиться на физическую работу в немецкой фирме Rohstoffeffassung, которая занималась поисками сырьё».

Эта фраза вызывает в воображении семейный совет, во время которого при блеске серебряных столовых приборов и фарфора старейшины рода решают, что делать со строптивым юношей, отстранённым от обучения. И вдруг кто-то говорит: «А может, устроим его на фирму к знакомому?» Предложение всем нравится, глава рода открывает бутылку, хранящуюся для специальных случаев.

В действительности это выглядело, скорее всего, так, что Лемы прятались в квартире на улице Бернштайна от украинских боевиков, распространяющих террор в городе, и искали способ выжить. Еврейские семьи в этой ситуации оказывались перед самым драматическим выбором: кого спасать в первую очередь, очень быстро стало понятно, что всех спасти не удастся.

Янина Хешелес в послесловии к своим мемуарам попросила прощения у особы, описанной в них как «тётя В.», которая ей не помогла в тот же самый период, летом 1941 года. Когда после войны Янина Хешелес сама стала мамой, она поняла, что в первую очередь спасёт своего ребёнка, а дальних родственников лишь по мере возможностей, и через годы она написала, что и сама бы сделала то же самое на месте той тётки.

Поэтому я допускаю, что этот семейный совет выглядел так: семья решила, что в первую очередь спасут Сташека, потому что как мужчина, годный к физическому труду, он имеет самые высокие шансы на выживание. Его можно устроить на завод, работающий для немцев, и Лемы справедливо надеялись, что таких евреев будут ликвидировать в самом конце. (Через какое-то время «сильные» бумаги должны были иметь и врачи, работающие в гетто, но Самюэль Лем, вероятно, предположил, что это может быть ловушкой, и не воспользовался этой возможностью, что спасло им всем жизнь.)

Холокост во Львове протекал быстрее, чем в городах на западе от границы, установленной пактом Молотова – Риббентропа, потому что у немцев было мало времени. Не было тут того обманчивого 1940 года, когда евреи в оккупированной Польше ещё могли надеяться, что за стенами гетто хотя бы часть из них как-то устроит свою жизнь.

Менее чем через месяц после «погрома тюрем» случилась следующая трагедия: «дни Петлюры», погром, организованный украинцами вроде бы на годовщину смерти атамана Петлюры, убитого евреями (в действительности его убил советский шпион 26 мая 1926 года). В этот раз погром был менее хаотичным, потому что должен был продемонстрировать немцам организационную эффективность украинской самопровозглашённой полиции. На основе собственноручно составленных списков боевики ходили от дверей к дверям и вытаскивали евреев, якобы на работу, а на самом деле в определённые места, в которых снова, как и во время предыдущего погрома, главным орудием убийства были палки и камни. Между 25 и 27 июля было уничтожено несколько тысяч человек, среди них оказался Марек Вольнер, ларинголог, брат Сабины Лем, которая до конца жизни надеялась, что её брат найдётся живым и здоровым.

Сразу после «дней Петлюры» оккупант объявил о наложении на львовских евреев контрибуции – они должны были выплатить двадцать миллионов рублей из собственных средств. Для уверенности они задержали тысячу заложников схваченной украинцами еврейской элиты Львова. Несмотря на выплаченную сумму, всех евреев всё равно расстреляли.

Осенью 1941 года началось переселение евреев в гетто, организованное с другой стороны железной дороги, в районе Знесенье. Вскоре была проведена специальная акция по отлову довоенных врачей и адвокатов еврейского происхождения, о которых немцы узнали из довоенных реестров. Они арестовали около семидесяти человек, которых никто потом больше не видел⁶⁷. Это может быть моментом смерти Фредерика, брата Самюэля Лема. Если он не погиб тогда, то самое позднее это случилось весной следующего года (поскольку он попал в гетто, он определённо оказался в первом отборе особ, неспособных к труду).

Как случилось так, что Самюэль и Сабина Лемы уцелели? Владислав Бартошевский утверждал, что родители Лема оказались в гетто, но Станислав смог их оттуда вытащить благодаря помощи коллег из гимназии, служащих в Армии Крайовой. Тут появляется рассказ об отважном побеге из гетто на дрожках, про это захватывающее приключение известно не только в семье Лемов, но и в семье Колодзеев (про которую больше в следующем разделе), хотя немного в другой версии. В этой второй версии единственно легальной (арийской) пассажиркой этой дрожки была пани Ольга Колодзей⁶⁸.

Я отношусь к этой истории довольно скептически, потому что, даже когда гетто ещё не было ограждено, особа с арийскими документами не могла просто так зайти на его территорию, а тем более въехать на дрожках. Она могла как максимум подъехать ближе.

Но улица Бернштайна, где семья Лема жила после того, как оставила свою квартиру на Браеровской, располагалась близко от гетто. Возможно, действительно происходило какое-то катание на дрожках (и одной пассажиркой могла быть именно Ольга Колодзей), только не на территории гетто. Возможно, речь идёт об эвакуации Самюэля и Сабины Лемов из всё более небезопасного места на Бернштайна? Так или иначе, но это должно было происходить до декабря 1941 года, потому что именно тогда территорию гетто оградили⁶⁹.

Потом спасти родителей было бы сложнее. Какое-то время евреи ещё могли получить пропуск, чтобы покинуть гетто, но это была ужасная лотерея. Главная дорога на арийскую сторону проходила под железнодорожным путепроводом над улицей Пелтевной, прозванным «мостом смерти». За выходом следили продажные украинские полицейские, которые независимо от имеющихся документов требовали взятку за проход. «Каждый день у моста одна и та же сцена – избиение, грабёж, убийство. Вечером вывозят на кладбище кучи трупов», – писал Филип Фридмен⁷⁰.

В конце октября по примеру гетто как в других городах, так и во Львове создали коллаборантскую еврейскую службу порядка, *Jüdischer Ordnungsdienst Lemberg*, в которую входили двести пятьдесят человек. Служащие там евреи рассчитывали на то, что спасут собственную жизнь, помогая немцам в убийстве других евреев. И снова: во Львове всё проходило слишком быстро, чтобы хоть кто-то мог долго питать такую надежду.

30 октября немцы потребовали от юденрата организовать вывоз молодых, здоровых мужчин в трудовые лагеря. Руководитель юденрата доктор Парнас отказался это делать и был расстрелян. На первый план в юденрате выдвинулся заместитель Парнаса доктор Генрих Ландесберг, решивший спасти свою жизнь или хотя бы своего сына ценой безоговорочного подчинения оккупанту (кстати, его сын выжил, он – нет).

В ноябре на улице Яновской был создан принудительный трудовой лагерь, превратившийся потом в лагерь смерти, прозванный яновским. В нем погибло около двухсот тысяч чело-

⁶⁷ Воспоминания свидетеля приведены на основе: Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa... op. cit.*

⁶⁸ Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

⁶⁹ Paweł Goźliński, Jarosław Kurski, *Mój przyjaciel pesymista [wywiad z Władysławem Bartoszewskim / интервью с Владиславом Бартошевским]*, «Gazeta Wyborcza», 31.12.2008.

⁷⁰ Filip Friedman, *Zagłada Żydów lwowskich*, Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1945, цит. по: Edward Jaworski, *Lwów. Losy mieszkańców i żołnierzy Armii Krajowej w latach 1939–1956*, Pruszków: Ajaks, 1999.

век⁷¹. Среди них, скорее всего, мог бы оказаться и Станислав Лем, если бы угодил в гетто и был бы схвачен ещё во время осенних набегов.

В марте 1942 года выдвинулся первый транспорт в концлагерь Белжец. Немцы потребовали от юденрата отобрать всех евреев, которые нетрудоспособны по здоровью или возрасту. Это самая поздняя возможная дата смерти «дяди Фрица» и «тёти Берты».

Самюэль и Сабина Лемы в этот момент должны были уже быть в каком-то безопасном месте, потому что эту облаву они бы точно не пережили. Налёт организовали не немцы и не украинцы, которых довольно легко можно было обмануть или перекупить, это были евреи, отчаянно борющиеся за собственную жизнь. Таких трудно подкупить.

До июня 1942 года во Львове осталось около семидесяти тысяч евреев. Немцы ускорили истребление, используя каждый раз всё более изобретательные и ужасные методы. Недовольные работой еврейской полиции, 24 июня они организовали в гетто собственную облаву. Убили несколько тысяч человек. «Женщин голыми вытаскивали ночью во двор и спускали собак, которые их разрывали», – писал Ян Роговский⁷².

Это было вступление к «большой еврейской операции», результатом которой станет смерть летом 1942 года нескольких десятков тысяч евреев в гетто. Большинство было убито не в газовых камерах, а в операциях, напоминающих произошедшую 24 июня – во время облав огромных масштабов. Пойманных сопровождали или в яновский лагерь, или непосредственно «на Пяски», то есть к подножию Кортумовой горы в окрестностях Львова. Там их расстреливали – прямо в оврагах или общей могиле – на такой высоте, чтобы окрестные жители видели, как с горы стекают ручьи крови, вливаются в реку, текущую через весь Клепаров и впадающую в Полтву⁷³.

2 сентября немцы казнили полтора десятка членов юденрата, в том числе доктора Ландесберга и офицеров еврейской полиции. Их повесили на балконах штаб-квартиры юденрата. Свидетели писали, что немцы специально использовали тонкие верёвки, чтобы жертвы обрывались и падали ещё живыми на брусчатку. «Истекающих кровью, с насмешками и побоями их вешали снова»⁷⁴. Немцы предъявили уцелевшим членам юденрата счёт за покупку верёвки и потребовали вернуть деньги.

Где во всём этом Лем? Скорее всего, он все ещё в *Rohstofffassung*. Бересь описывает, что Лему удалось изготовить так называемые «хорошие» бумаги. Формально он был трудоустроен как *Automechaniker und Autoelektriker*, и естественно, его квалификация была, как он сам говорит, мизерной. Единственным основанием были любительские (так называемые «зелёные») водительские права, полученные ещё до войны, и обучение у мастера. Как звали того мастера, сейчас сложно сказать, потому что у Береса его имя звучит как «Тадеуш Солякевич», а у Фиалковского «Тадеуш Сулякевич». Оба автора записывали интервью на слух, а Лем подтвердил обе версии. Сегодня некого про это спросить. В романе «Среди мёртвых» он во всяком случае представлен как «Тадеуш Полякевич».

В обеих версиях (а также в романе) заметно уважение, каким автор одарил того, кто посвятил его в тайны карбидно-ацетиленового сгорания. «*Тадеуш Сулякевич, который обучал меня этой профессии, выходил на улицу, брал пятикилограммовый молот и спрашивал: «Это сварной шов?» Удар и весь приваренный корпус распался»*, – это у Фиалковского. А у Береса искренне: «*чему-то в конце концов я научился, но сварщиком был весьма скверным»*.

В романе есть похожая сцена:

⁷¹ Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgiński, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa... op. cit.*

⁷² Там же.

⁷³ Edward Jaworski, *Lwów... op. cit.*

⁷⁴ Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgiński, *Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa... op. cit.*

«Работа в гараже шла в нормальном режиме. Вильк сваривал металлические перекладки, которые должны поддерживать расширенную раму нового грузовика. В глубине темных защитных очков сварка выглядела как ритмично пульсирующая звезда. Обе руки парня – левая держала проволоку, а правая – горелку, – дрожали в нескольких сантиметрах от пламени с разных сторон. Брызгая искрами, жидкое железо заливало стыки, а пламя задувало его в самые маленькие щели. Когда Вильк встал над дымящей ещё рамой, появился Полякевич с двенадцатикилограммовым молотом и двумя ударами развалил все перекладки. Сварочные швы были перегоревшими.

– Я этому тебя учил?

Выругавшись, пан Тадеуш пошёл в канцелярию за папиросами».

Герой романа Кароль Владимир Вильк учится быстрее Лема. Потому что Марцинов и Полякевич хвалят его успехи. Вильк, как и Лем, любит машины, но в его случае эта любовь взаимна (вся последующая жизнь Лема – это история несчастливой, невзаимной любви к разным устройствам).

«Вилька заинтересовали привезённые запчасти. Он незаметно отложил себе некоторые, ибо раздумывал создать на чердаке маленькую лабораторию», – это уже Лем писал про себя, потому что Бересю и Фиалковскому он вспоминает, что в *Rohstofffassung* он продолжал своё довоенное увлечение – конструирование собственных машин.

В обязанности Лема входил сбор твёрдого сырья с разбитых советских танков и самолётов, что немцы свозили на территорию Восточной Ярмарки, которую оккупанты приспособили под казармы Люфтваффе. Мешочки с порохом и патроны он передавал какой-то подпольной организации, про которую ничего не знал, так он говорил Бересю и Фиалковскому. Вероятно, речь шла про Армию Крайову, так во всяком случае запомнил Владислав Бартошевский (и это, скорее всего, так, потому что польское коммунистическое подполье во Львове было очень слабым).

Лем также снимал какое-то оборудование, не нужное подполью, такое, как авиагоризонт и спидометр, с самолётов, потому что ему просто была интересна их конструкция (его при этом безумно веселила надпись на приборах: «Made in Germany»). Однажды он ради шутки взорвал снятую с танка дымовую шашку, а как-то закинул в печь пакет с порохом. *«Был такой дьявольский взрыв, что каминная труба вылетела из стены, а мы все походили на негров [...], а у ворот проходил немецкий часовой!»* – рассказывал он Бересю.

Не хватает достаточно точных данных, чтобы описать степень сотрудничества Лема с подпольем. Сложно сказать, почему в разговорах с Бересем и Фиалковским он не даёт название конкретной организации. Почему кто-то должен был до 1989 года скрывать свою связь с АК (если это, конечно, была АК)? Может, Лем просто не был на сто процентов уверен, поэтому не хотел обманывать читателей? С Бартошевским он лично разговаривал, не надеясь, что этот разговор через четверть века будет передан журналисту. И действительно, именно потому, что разговор с Бартошевским – это уже пересказ, к нему следует подходить осторожно. По мнению Бартошевского, связными Лема с подпольем были «школьные товарищи» – это очевидная ошибка, это должны быть гимназисты. И, скорее всего, один гимназист, потому что основой конспирации является сведение к минимуму круга посвящённых.

В любом случае, по мнению Бартошевского, именно эти коллеги спасли родителей Лема из гетто с использованием дрожек, а самому Станиславу достали фальшивые документы. В книгах Береся и Фиалковского эти документы появляются неизвестно откуда. Однако, поскольку с самого начала известно, что изготовление фальшивых христианских метрик и арийских удостоверений личности было побочной деятельностью фирмы *Rohstofffassung*, там

в первую очередь я искал бы их источник. По фальшивым документам Станислав Лем был армянином Яном Донабидовичем. В довоенном Львове ещё со Средневековья жила значительная армянская диаспора. В период Второй Речи Посполитой она была сильно полонизирована, так же как и еврейская диаспора. Но в какой конкретно момент Лем стал Донабидовичем? И как надолго? Тут уже начинаются загадки. По мнению Бартошевского, у Лема всё время были «сильные бумаги» благодаря его знакомым из АК и на основании этих документов он работал до самого конца оккупации, поддерживая родителей. Мне кажется, это маловероятно, потому что прежде всего работа в *Rohstofffassung* предоставляла «сильные бумаги» также и евреям (до поры до времени). Если бы Станислав Лем числился в *Rohstofffassung* как армянин с фальшивым именем, то подвергся бы смертельной опасности: какой-то довоенный знакомый его или его родителей мог бы произвольно назвать его «Шашеком». Поскольку на эту работу ему помог устроиться «знакомый отца», а к тому же работали там «в основном евреи», риск такой встречи был очень высоким. Впрочем, известно, что в *Rohstofffassung* работала, по крайней мере, ещё одна особа, связанная с родом Лемов (но настолько далёкая, что не появляется в воспоминаниях Станислава Лема, может быть, они никогда так и не познакомились). Это рождённая в 1926 году София Кимельман, дочь Ванды Лем и Макса Кимельмана⁷⁵. В *Rohstofffassung* она работала под настоящей фамилией. Лишь в августе 1942 года сделала себе фальшивые документы на имя Софии Новак. Потому мне кажется маловероятным, чтобы Станислав Лем стал Яном Донабидовичем с самого начала оккупации.

Более правдоподобной мне кажется та хронология, которую мы видим у Фиалковского. «*Это [работа в Rohstofffassung] было в сорок первом и сорок втором годах, а в сорок третьем я вынужден был смотреть удочки*». Конкретной даты «сматывания удочек» Лем не даёт, но можно догадаться, что это связано с одним драматическим инцидентом – он прятал на территории фирмы коллегу по гимназии по фамилии или по кличке Тиктин, который дезертировал из еврейской службы порядка.

Бересю Лем описывал это так:

«Это было утром, когда я вышел во двор перед гаражом. Там почти всё время ходил какой-нибудь немецкий постовой. Этот мой знакомый, наверное, заметил меня раньше, и мы немедленно оказались внутри гаража. Он был в гражданской одежде, в офицерских сапогах, с непокрытой головой. Оказалось, что он сбежал. С ним случилась очень странная история: он должен был бежать из страны со знакомыми, им обещали помочь венгерские солдаты, но, когда они пришли в условленное место, попали в засаду, потому что венгры пришли с каким-то вооружённым евреем, который был доверенным гестапо или полицейским. И сразу же начали стрелять. Тогда он и сбежал. Как он попал ко мне, понятия не имею».

Что до этого, то у меня нет уверенности, но создаётся впечатление, что речь идёт о задокументированном историческом событии: неудавшемся бунте еврейских полицейских 12 февраля 1943 года. В конце января немцы ликвидировали гетто и перенесли его остатки в *Judenlager*, временный концлагерь для последних нескольких тысяч евреев, ликвидация которых по разным причинам была отложена. Лагерь был под непосредственным немецким надзором, гражданская еврейская администрация была уже не нужна. Поэтому юденрат распустили, то есть перебили, убив также его последнего президента доктора Эдварда Эберсона.

Но в живых остался начальник еврейской полиции охраны Барух Ройзен и его правая рука – двадцатисемилетний Макс Голигер-Шапиро (в другом написании Гулигер), бывший спортсмен, имевший среди гестаповцев sobutylnikov. Скорее всего, потому он и прожил так

⁷⁵ False Papers Issued to Sophie Kimelman under the Name Zosia Nowak, United States Holocaust Memorial Museum, <http://collections.us-hmm.org/search/catalog/pa1156377> (dostep 28.02.2017).

долго. В гетто его фамилию произносили со страхом и ненавистью. Голигер старался добиться благосклонности немцев, проявляя исключительную жестокость к своим соотечественникам.

Вместе с ним дожило до этого момента около двухсот еврейских полицейских, которые прекрасно понимали, что их дни сочтены. Голигер придумал план побега в Венгрию при содействии подкупленных немецких или венгерских офицеров (я встречал разные версии). Так или иначе, план не удался – заговорщики попали в западню, и немцы начали ликвидацию еврейских полицейских. Их казнили публично для устрашения около семи тысяч евреев, которым ещё позволено было жить.

«Тиктин прятался в Rohstofffassung несколько дней. Это был идиотский план, гараж вообще не закрывался, достаточно было подняться наверх с фонариком (там не было света), чтобы увидеть парня, скрывающегося в закоулке. Долго это продолжаться не могло. Наконец я ему сказал: «Ты не можешь сидеть здесь вечно». И через некоторое время он ушёл, а я сообразил, что, скорее всего, его поймут, будут допрашивать, немцы будут выпрашивать, где он скрывался. Он скажет, что у меня. Когда я это сообразил, мне стало горячо... поэтому я перебрался к одной старушке, у которой жил до тех пор, пока мне не сделали документы на имя Яна Донабидовича».

Так Лем описывает это Бересю. Однако мы помним, что в этих интервью он постоянно умалчивает важное обстоятельство: своё происхождение. И поэтому как еврею ему грозила смерть от рук немцев независимо от того, выдал бы его Тиктин или нет. Я допускаю – но это уже только моя гипотеза, – что настоящий мотив побега из *Rohstofffassung* был другим.

Даже если бы Станислав Лем в феврале 1943 года действительно не знал, что за последние полтора года немцы уничтожили девяносто процентов из ста двадцати тысяч евреев, живших во Львове, и не сделал из этого логический вывод, что вот-вот возьмутся и за тех живых, кого охраняют «сильные бумаги», то после инцидента с побегом Тиктина он наконец должен был всё понять. В конце концов, в гетто не было для еврея лучших документов, чем удостоверение еврейского полицейского. Если даже тех евреев из *Ordnungsdienst* ожидала неминуемая ликвидация, то самое время было прятаться.

Когда гетто превратилось в концлагерь, все оставшиеся в живых евреи оказались в изоляции. Им не выдавали пропусков, что позволяли более-менее свободно передвигаться по городу. Если они работали за пределами лагеря, то передвигались организованными колоннами под охраной и так же возвращались. Такую «колонну Rohstoff» в мае 1943 года описывает Янина Хешелес. Станислав Лем был бы в ней, если бы не убежал в последний момент. У него бы тогда остался месяц жизни, так же как и у других евреев из *Rohstofffassung*.

Мне неизвестно, спас ли Лем жизнь своему коллеге из гимназии, спрятав его. Дальнейшая судьба Тиктина неизвестна. Но абсолютно точно ясно, что встреча с Тиктином спасла жизнь Станиславу Лему. Если бы он и дальше тянул с побегом, то было бы сложнее изготовить ему фальшивые документы и добраться до безопасного убежища.

Про еврейскую полицию порядка, или про юденраты, трудно писать, полностью воздерживаясь от оценки. Тиктин имел на своей совести минимум одно преступление: сотрудничество с оккупантом. Но если ему удалось дожить до февраля 1943 года, он должен был совершать более страшные вещи. Лем приближается к этой оценке в разговоре с Бересем, потому что делает такое отступление, которое в действительности является продолжением этой темы: *«Именно тогда какой-то перевозчик всю свою семью помог отправить в Трешлинку (а если не помог, то, во всяком случае, не мешал и не пошёл с ними). Потом он спрашивал людей: «Я – убийца?»»*

Лем, вероятно, апеллирует тут к опубликованным в 1993 году издательством «Карта» воспоминаниям Цалека Переходника, еврейского полицейского из гетто в Отвоцке, который не смог спасти свою семью от вывоза в Трешлинку, после чего и сам погиб несколько месяцев спустя. Название «Я – убийца?» придумала польская редакция. Позднее появилась вторая, исправленная версия, составленная на основе оригинальной рукописи Переходника под названием «Исповедь» (и с исправленным написанием имени автора). Лем, по привычке, перекрутил фамилию Переходника на что-то, что звучало как имя нарицательное «перевозчик». И он задаёт вопрос, который Переходник в реальности в своей рукописи не поднимает. Возможно, Лем её вообще не читал, только делал отсылку к горячим дискуссиям на тему этих воспоминаний, которые велись в середине девяностых, просто желая в разговоре с Бересем поднять тему моральной оценки коллаборантов с оккупантами.

Однако сам ответа он не давал. Оставляя всё с подвешенными знаками вопроса. Тем более мне кажется неприличным, чтобы через семьдесят лет после тех событий он сам выносил какие-то осуждения, уютно устроившись за письменным столом и попивая чай. «Столько знаем о себе, на сколько проверены»⁷⁶, – писала лауреатка Нобелевской премии. Я не знаю, что делал бы в минуту последнего жизненного испытания, и надеюсь, что никогда не узнаю.

Вопрос об истреблении и моральной ответственности невольных соучастников мучил Лема на протяжении всей жизни. Это видно не только в этом интервью, это заметно также в первой и последней книгах лемовского канона, от «Больницы Преображения» до «Фиаско», а также в публицистических и квазипублицистических текстах, таких как известный апокриф профессора Асперникуса в лемовской «Провокации». Я думаю, что его это мучило уже тогда. Я не верю в заверения Лема, что он «взирал на реальность с перспективы муравья», поэтому и не знал, что происходит в гетто или о других преступлениях немцев, которые доходили до него только «как невыразительное эхо событий».

Он сам в «Неутраченном времени» изобразил *Rohstofffassung* как место, о ситуации в котором было известно не только во львовском гетто, но и в других гетто Генерал-губернаторства, потому что скрывающиеся евреи, благодаря своим контактам, обменивали на фирме золото и валюту, а также имели возможность привозить самые разные товары, недоступные в свободной продаже, такие как настоящая икра или французские вина. Более того, о том, что делалось в каком гетто, Зигфрид (он же Виктор) Кремин узнавал первым. Лем описывает в романе начало очередной операции по ликвидации, которая нарушает празднование дня рождения Кремина (во время вечеринки подавали именно *echter Kaviar*, а также многочисленные французские напитки). Одним из гостей был штурмбаннфюрер Таннхойзер, про которого Лем рассказывал Фиалковскому как о подлинной личности.

Таннхойзер регулярно информирует Кремина о том, что происходит в гетто. Он прерывает празднование срочным телефонным звонком, чтобы сообщить ему про очередную операцию ликвидации. Кремин ругает своего собеседника (как-никак, офицера СС), словно был его начальником: «Tannhäuser, warum haben Sie mich nicht vorher benachrichtigt?! – кричал он в трубку. – Ach was, ich konnte nicht, ich konnte nicht! Was für eine Drecksache!» (Таннхойзер, почему вы не сообщили мне об этом раньше? Ну да, я не мог, я не мог! Что за вонючая история!)⁷⁷.

В разговоре с Фиалковским Лем прямо отметил, что портрет Кремина в общем реалистичный. Если это так, мы можем утверждать, что образ фирмы в романе тоже соответствует реальному: было это болтливое место и все работающие там евреи дожили до 1943 года благодаря тому, что были хорошо проинформированы. Потому Лем в 1942 году, вероятней всего, знал о ситуации в гетто.

⁷⁶ Стих В. Шимборской «Минута молчания по Людвиге Вавржинской», пер. с польск. Н. Матвеевой-Пучковой.

⁷⁷ «Операция “Рейнгард”», сборник «Хрустальный шар», пер. с польск. В. Борисова.

Тогда это означает, что, работая в *Rohstofffassung*, мой любимый писатель подвергался моральным мучениям, задумываясь о судьбе своих родственников. Понятно, что он ничего не мог сделать, чтобы им помочь. Но человеческий мозг так не работает. Я думаю, что уже тогда Лема мучили вопросы о природе добра и зла, которые через несколько лет он будет поднимать в «Неутраченном времени». Кремин кажется почти позитивным персонажем. Когда немцы начали следующую ликвидацию, он не жалеет ни сил, ни денег, чтобы вытащить «своих евреев, которых уже загружали на вокзале в вагоны».

Разумеется, он делал это небескорыстно. Похоже, что он приступает к делу из честолюбивых соображений. Убийство «его евреев» подрывает его позиции. Он не может этого допустить! Поэтому он пытается спасти их, и даже если (как в романе) спасёт только половину, это и так будет больше спасённых человеческих жизней, чем мог бы предъявить на Страшном суде автор этой книги (а вероятно, и большинство её читателей).

В начале 1943 года немцы приступили к ликвидации последних остатков гетто во Львове. Для львовских евреев не было никаких «сильных бумаг», погибнуть должны были все, и не важно, работали они для армии, или были в юденратах, или имели мундиры службы порядка. Отсюда, собственно, и моя уверенность, что невозможно, чтобы Лем работал в *Rohstofffassung* аж до конца оккупации.

Когда Лем окончательно оставил эту фирму? Ответ, по сути, приводит к тому, верим ли мы в истинность истории Тиктина. Лемологи, с которыми я про это разговаривал, часто её оспаривали, аргументируя, что слишком много в ней совпадений (внезапная встреча коллеги из гимназии именно перед *Rohstofffassung*?).

Я допускаю её правдивость, руководствуясь довольно слабым, признаюсь, аргументом, что выдумывать несуществующую фигуру не в стиле Лема. Он скорее закроется, скорее отвернёт внимание, скорее не скажет всей правды, но не подсунет на сто процентов выдуманного персонажа. Если бы он так делал, ему было бы проще избегать вопросов про еврейское происхождение, просто выдумывая фиктивных арийских предков.

Если предположить правдивость рассказа о Тиктине, у нас появляется довольно точная дата его побега из *Rohstofffassung* – середина февраля 1943 года. Если же эту гипотезу отбросить, то остается только вероятность, что Лем убежал раньше и раньше стал Яном Донабидовичем. Независимо от версии мы должны принять, что, по крайней мере, определенное время Лем жил (ночевал) на территории фирмы, где чувствовал себя в безопасности.

«Мы предпочитали ночевать в гараже, нежели выходить в город, потому что было сказано, что наличие пропуска вместе с удостоверением личности не является для поляка гарантией неприкосновенности, и украинские полицейские могут его просто застрелить», – говорил он Фиалковскому. И это точно совпадает с тем, что описывает в книге «Поляки во Львове 1939–1944. Ежедневная жизнь» Гжегож Грицюк, под начальством Питулея украинская полиция охраны сеяла страх и среди евреев, и среди поляков. Встреча с таким полицейским была опасной для Лема, независимо от того, какой документ у него был.

Не важно, убежал он из фирмы уже в 1942 году или лишь в феврале 1943-го, появляется ещё одна загадка в биографии Лема, которую мы должны разрешить. По меньшей мере несколько месяцев он жил во Львове полностью нелегально. Каждое случайное узнавание на улице грозило смертью ему, его семье и «семье Подлуских с улицы Зелёной»⁷⁸, у которых он ожидал конца немецкой оккупации (скорее всего, это был не единственный адрес, где он прятался, но только этот он раскрыл публично).

Этот период интересен для поклонников его прозы тем, что во время этих нескольких месяцев рождается «Человек с Марса», первый роман Лема *science fiction*. Из интервью с Бересем видно, что Лем написал его как Донабидович, когда, с одной стороны, у него была возмож-

⁷⁸ Такое название появляется в интервью Станислава Береса.

ность перемещаться по городу, благодаря фальшивому имени, с другой – это перемещение по городу он должен был свести к минимуму. Возможно, и один и второй аспект его положения кроется во фразе из интервью Береса, которая очень характерна для Лема: «записался в библиотеку, читать мог сколько хотел». В этом невинном на первый взгляд описании ситуации можно увидеть ужас всей ситуации человека, который скрывается от смертельной угрозы – и из-за этого смертельно скучает.

Последние несколько месяцев немецкой оккупации во Львове ни у кого, кроме самих немцев, уже не было «сильных» бумаг. Но и они начинали бояться, потому что, как говорит Лем Бересю, «это был период, когда уже начали говорить о русских и о большом зимнем наступлении». Инцидент с Тиктином, если и был настоящим, то произошёл через две недели после капитуляции Паулюса в Сталинграде, которая привела к уничтожению Группы армий «Юг» – той самой, которая заняла Львов⁷⁹.

Запущенная немцами машина террора после последнего решения еврейского вопроса тем временем повернулась к «Арийцам». Как хорошо заметил профессор Хорст Асперникус, немецкая политика как таковая уже не имела смысла. Они высокой ценой построили машину, которая жила за счёт рабской силы евреев и военнопленных только для того, чтобы их как можно быстрее уничтожить, но тогда их экономика уже была зависима от бесплатной рабочей силы. Откуда же её брать? Какое-то время немцы весьма наивно полагали, что славянские народы пойдут добровольно. Акция вербовки во Львове (и не только) тем не менее закончилась полным фиаско.

С осени 1942 года начались облавы. Возможно, именно одну из них Лем описывает Фиалковскому в интервью: прячась у одной старушки, он ждал фальшивые документы и видел в окно, как каких-то людей грузят в грузовики. Облавы проводились в разных местах, в которых массово собирались жители Львова. Теоретически их целью был сбор способных к работе людей, но способными к работе считались также пятидесятиррёхлетняя женщина и мужчина без пальцев на одной руке⁸⁰.

Немцы делали ставку на количество, выбирали места, в которых можно зараз поймать несколько сотен людей: сначала ярмарки, потом вокзал, на котором в грузовики загоняли просто всех пассажиров междугороднего поезда. Случалось также, что ловили всех посетителей кино, вместе с обслугой. Пик облав пришёлся на начало 1943 года⁸¹.

«Арийских бумаг» было недостаточно, чтобы выйти из этого котла. Только четыре вида документов давали такую возможность: легитимация «Im Dienst der Deutschen Wehrmacht», «Deutsche Post», RD («Служба Рейха») и... еврейские. Немцы не убивали всех подряд, у каждого был свой срок – как говорил Лем, жалуясь Бересю на исторические неточности в фильме «Больница Преображения» Жебровского, который показал одну большую экзекуцию, а должен был показать отдельные экзекуции пациентов, отдельные – врачей, отдельные – медперсонала, и так далее.

Львов в тот период, когда Лем прятался с фальшивыми документами, был городом ужаса. Каждый боялся облавы. Трамваи ездили пустыми, на улицах не было пешеходов, на кинопоказах не было людей, и это совсем не из-за оглашенного подпольем бойкота⁸². Может показаться странным, что Лем в этих условиях думал только о книгах в библиотеке, но не нужно забывать, что для скрывающегося еврея приоритетом было не делать то, что ожидали от скрывающегося

⁷⁹ Капитуляция наступила 2 февраля 1943 года – это опять-таки вопрос моего презентизма, но мне кажется, что уже с этого времени каждый немец должен был бояться. Идеальным моментом была речь Геббельса 18 февраля 1943 года о том, что победа требует усилия «каждого немца», более-менее тогда Лем убергал из *Rohstofffassung* (если принимаем за правду рассказ о Тиктине).

⁸⁰ Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944... op. cit.*

⁸¹ Там же.

⁸² Там же.

еврея. Сожитель семьи Подлуских, который вообще не выходил бы из дому, казался бы подозрительным. Лем не ходил на работу. Он жил на сбережения отца, который также оплачивал его проживание (поэтому нельзя верить воспоминаниям Бартошевского, что Лем обеспечивал родителей, работая в *Rohstofffassung*). Он выскальзывал за книгами, потом возвращался как можно быстрее и снова убегал в мир фантазий.

Он не раскрыл список книг, которые прочитал в тот период, но, возможно, там были американские романы или рассказы *science fiction* (технически это было возможно, ведь до 1941 года Третий рейх поддерживал нормальный культурный обмен с США). В Польше не было литературы такого типа. В Америке почти самостоятельно её открыл в двадцатые годы издатель Хьюго Гернсбек в журнале «*Amazing Science Fiction*». «Человек с Марса» спокойно мог бы появиться в этом журнале. Я допускаю, хотя на это у меня нет и тени доказательств, что непосредственным вдохновением для Лема был немецкий перевод какого-то американского автора из группы Гернсбека. Это бы объяснило, почему «Человек с Марса» начинается именно в Нью-Йорке (естественно, воображаемом Лемом, в котором, например, Пятая авеню – это улица с двусторонним движением⁸³ и по ней ездят троллейбусы).

Для романа, написанного в таких условиях, «Человек с Марса» является удивительно хорошим. Мы видим тут будущие задатки таланта Лема. Темой романа является Контакт, один из классических топосов *science fiction* (описанный с типично лемовским пессимизмом, мало того что ничего из этого не выйдет, так ещё и создание, анонсированное в названии романа, оказывается настолько зловещим, что нет смысла пытаться с ним договориться, его нужно просто уничтожить). Тут и любимая сюжетная композиция Лема: главным героем, глазами которого мы видим эту историю, является дилетант, случайный прохожий, втянутый во что-то, чего он не понимает (как Роберт Смит из «Астронавтов», Ийон Тихий или другие герои коротких форм). И есть, наконец, несколько художественно представленных второплановых персонажей, с обязательным сумасшедшим учёным и молчаливым инженером.

Родители Лема скрывались тогда «около Городецкой, в какой-то боковой улочке» (Бересь) и «где-то возле Браеровской» (Фиалковский). Снова какой-то маскарад: Лем хорошо помнит адрес – это действительно была улица Коссака⁸⁴, – но имеет свои причины, чтобы его не открывать (как обычно: умышленно утаивает личности особ, которые их скрывали).

Можем догадаться про его страх и одиночество этого периода, читая один из наиболее впечатляющих фрагментов «Неутраченного времени», сцены облавы, в которую попадает Стефан. Насколько Кароль Владимир Вильк как бы «лучший Лем», настолько Тшинецкий является Лемом-недотёпой, менее рассудительным, которого постоянно используют. Во втором томе оказывается, что в «Больнице Преображения» эксцентричный поэт Секуловский (спи-санный с Виткация⁸⁵) сделал его исполнителем своей последней воли.

Привлекает внимание некий Долянец, исключительно отвратительный второплановый персонаж, гиена, делающая бизнес на скупке имущества жертв немецкого террора. Долянец соблазняет Стефана, который вместе с ним приезжает в неназванный город, очевидно, Львов. В городе живёт его отец, который отсутствует на страницах всей трилогии (линия Тшинецкого – это, по сути, постоянная попытка найти общий язык с отцом – далёким и непонятым, как существо с другой планеты). Они приезжают на поезде на территорию *nur für Deutsche*⁸⁶ (у Долянца есть деньги и возможности!), и он планирует переночевать у отца. Но он не желает разговаривать с ним о своих планах, принимая решение приехать так поздно, чтобы сразу лечь

⁸³ Справедливости ради следует заметить, что Пятая авеню во время написания «Человека с Марса» была улицей с двусторонним движением (односторонним оно стало с 1966 года). – *Прим. ред.*

⁸⁴ Станислав Лем, от 28.11.1990.

⁸⁵ Виткаций – сокращённое имя, под которым известен польский писатель и художник Станислав Виткевич.

⁸⁶ «Только для немцев».

спать. Время до вечера он переживает у коллеги из института. В городе, в котором установлен комендантский час, это очевидное самоубийство, безрассудный план.

Тшинецкий сначала ведёт себя как нормальный приезжий в нормальном городе, но этот город постепенно превращается в ночной кошмар. Стефан заходит в «кафе за углом», чтобы позавтракать: это ужасно, ему подали «резиновую булочку и чай со вкусом тряпки». Потом он хочет посетить парикмахера, но тут появляется первый укол страха. Входя в парикмахерскую, в дверях он сталкивается с мужчиной с лицом «асимметричным, с каким-то жестоким, недовольным выражением. Наверное, еврей, подумал Стефан и обомлел, потому что это было его собственное отражение в большом зеркале, достигающем пола». Стефан начинает ощущать, что все смотрят на него с подозрением, и даже после бритья он был недостаточно похож на арийца.

Наконец, за пятнадцать минут до комендантского часа он добирается до квартиры отца и тут узнаёт, что тот уехал на два дня. Он проводит ночь на вокзале и на следующий день ещё сильнее напоминает скрывающегося еврея. Он снова завтракает в следующем кафе – так же плохо, как и прошлый раз. Он ищет парикмахера. Но все прохожие выглядели так, словно спали или, что хуже, внезапно просыпались и начинали внимательно рассматривать Стефана и его истощённое, заросшее лицо.

Стефан пытается не впасть в панику. Он останавливает кого-то на улице, вежливо поднимая шляпу. «Я очень извиняюсь, – говорит, – вы не знаете, где тут есть открытая парикмахерская?» Отвечают ему только подозрительным взглядом. Потом внезапно кто-то бежит по улице, предостерегая его: «Убегай! Там, за углом!» Стефан знает, что речь идёт об облаве на евреев, но отвечает бормотанием, «растерянный и перепуганный одновременно: «Но я же не еврей». Напрасно. Группка играющих на улице подростков начинает указывать на него пальцами, раскрывая его происхождение. Сначала один из них «делает еврея», что автор описывает так: «Он минуту пялился на него, потом внезапно скосил глаза, вытянул губы, поворачивая их влево, и со всей силы зажал пальцами нос. Другие дети сначала шипели «Шш», а потом кричали: «Жиийид! Еврей! Юда! Юда убегает! Юдааа!»

Его схватили немцы. Оценка уличных подростков для них важнее, чем арийское удостоверение личности, которое перепуганный Стефан им показывает. Немец реагирует на него ироничным: «Du bist also kein Jude, was? Sehr schön!» («Ты не еврей? Ну и прекрасно!») Стефан попал на площадь, с которой их вывозили в Белжец, и описывает страх людей, ожидающих смерти:

«Несколько подростков проталкивали в щели между досками яд в маленьких конвертиках. Цена одной дозы цианистого калия была высокой. Евреи, однако, были недоверчивыми: в конвертах преимущественно находился мел».

Стефан вышел из всего этого живым, что на самом деле было бы нереально. Ведь Белжец не был концлагерем, он был лагерем смерти, в нём нельзя было делать то, что описывается в романе: вступить в разговор с немцами и благодаря этому быть отделённым от группы, предназначенной на смерть, и переведённым в группу для работы. Можно было получить дополнительные пару месяцев жизни на работе в зондеркоманде, обслуживающей газовые камеры. Однако я думаю, что описание ужаса улиц Львова стопроцентно реалистическое.

Последнюю публичную казнь – уже не евреев, а поляков и украинцев – немцы провели в феврале 1944 года, а последнюю непубличную (на Пясках – там, где раньше убивали евреев) в конце апреля 1944 года⁸⁷. Потом уже у немцев было слишком много проблем в связи с приближением Восточного фронта.

⁸⁷ Grzegorz Hryciuk, *Polacy we Lwowie 1939–1944... op. cit.*

Русские подошли к городу летом, но долго отказывались от наступления. Наконец они решились на манёвр окружения – с севера город обошла 60-я армия в направлении Жолквы, с юга – 68-я армия на Городок Ягеллонский.

Повторилась ситуация 1941 года, когда русские то покидали Львов, то возвращались в него. Большинство немецких сил отступили 18 июля. Остатки воинских частей забаррикадировались в Цитадели в центре города. Красная армия окружила город, но не вступала в него, давая немцам несколько дней на уничтожение польского восстания, проводившегося в рамках операции «Буря».

Для Лема это тоже стало временем ужаса. В какой-то момент до него дошёл слух, что отступающая дивизия СС «Галиция» собственноручно совершает погромы. Он в панике убежал в район Погулянки, что тянулся вблизи улицы Зелёной. Он с юмором рассказывает Фиалковскому, что потом его смешили вещи, которые он с собой захватил: «несколько кусков сахара, какие-то носки, один сапог».

Большинство боёв во Львове жители дома на Зелёной переживали в подвале. В этом случае «большинство боёв» означает несколько дней, даже неделю (речь идёт про период с 18 по 27 июля). Они слышали, как последний немецкий патруль стучался в ворота каменицы. Они лихорадочно совещались, открывать или нет. Они решили не открывать, вероятно, правильно.

Лем описывал Фиалковскому, что дважды за это время совершал поступки, равные самоубийству. В какой-то момент в подвале он вспомнил, что на кухне осталась кастрюля холодного борща. Он поднялся наверх, чтобы поесть, но как только зачерпнул из кастрюли – бабахнуло, а когда он пришёл в себя, то держал в руке только ручку от кастрюли, которую уничтожил взрыв, вместе с другим кухонным инвентарём. «Если бы я встал на метр дальше, то погиб бы», – вспоминает Лем, добавляя, что «несколько дней назад» (!) он выскользнул из этого подвала, чтобы наконец помыться, но услышал, как взрывы звучат всё ближе, «закончил купание со сверхъестественной скоростью». Этот взрыв, скорее всего, стал причиной его проблем со слухом, которые мучили писателя всю жизнь.

Когда выстрелы стихли, он отправился в центр города, чтобы наконец увидеть родителей. Это было где-то 22 июля – Львов оказался занят тем же львовско-сандомирским наступлением, которое привело к взятию Хелма и Люблина, а также к символической дате основания ПНР. Лем вспоминал Фиалковскому:

«По мере продвижения к центру города, я встречал всё меньше людей. А когда дошёл до Иерусалимского сада, не было вообще никого. Однако я шёл дальше и вдруг услышал характерный звук мотора «Пантеры» и грохот гусениц по мостовой. Я обернулся и, естественно, увидел, что, правда вдалеке, ко мне приближается немецкая «Пантера» [...]. Я хотел забежать в какой-то подъезд, но все двери были закрыты. Я мог только забиться в нишу и ждать, что будет дальше. От танка не убежишь».

К счастью для Лема, прежде чем экипаж «Пантеры» успел подстрелить его, сам уже польхал живьём из-за меткого выстрела замаскированного русского противотанкового отряда. «Я слышал страшные крики людей, горящих внутри», – вспоминает Лем. И это был последний крик немецкого оккупанта, который он слышал.

Через короткое время Львов оказался ничьим, то есть польским, и это было опасное время. Лем вспоминал, что своего отца, который хотел присоединиться к операции «Буря», в последний момент он задержал на ступенях, когда тот решил выйти на улицу с бело-красной повязкой «Военный врач Армии Крайовой». Это было бы самоубийством. Русские приняли помощь Армии Крайовой при захвате города, потому что у них не было пехоты. В скором времени после взятия Львова они схватили несколько тысяч своих «союзников» с бело-красными повязками. Часть из них убили, часть сослали в лагеря, часть стала служить в Красной армии.

Судьба Самюэля Лема, если бы его схватили с такой повязкой, была бы, несомненно, страшной. Русские некоторых участников Армии Крайовой убили сразу, без суда, других отправили в лагерь, где больной пожилой человек не смог бы выжить.

В жизни Станислава Лема началась третья оккупация, о которой известно меньше всего. Лемы должны были в советском Львове вести очень осторожную игру. Выжившие в холокост, к сожалению, не могли в СССР рассчитывать на то, что кто-то им скажет: «Вы пережили холокост! Это замечательно! Вот медаль за победу, а это вознаграждение за терпение!» Во время немецкой оккупации спасение обычно требовало сотрудничества с неоднозначными моральными субъектами, такими как Кремин или Долянец. Требовалось давать взятки за фальшивые документы и щедро платить смельчакам, готовым прятать евреев в своих домах или квартирах. Взятничество, фальсификация и владение валютой было запрещено в СССР, поэтому те, кто скрывался, и те, кто скрывал, после войны не хотели, чтобы их спрашивали, что стало с золотыми монетами, которыми евреи платили за спасение.

При тоталитарном режиме не нужно было совершать преступление, чтобы попасть в тюрьму. Достаточно было подозрения. Упомянутая уже семья Кимельманов была в шаге от серьёзных проблем – информатор НКВД подслушал в 1945 году Макса Кимельмана, который говорил по-немецки, и принял его за шпиона. Кимельман провёл пять месяцев в киевской тюрьме без какого-либо приговора, к счастью, семье удалось его вытащить, а позднее выехать из СССР.

Новым оккупантам Лем не мог признаться ни в своей работе в *Rohstofffassung*, ни в том, что использовал фальшивые документы. Если Армия Крайова действительно имела что-то общее со спасением Самюэля и Сабины Лемов с улицы Бернштайна или прямо из гетто – это также должно было остаться в тайне. На всё это у нового оккупанта было только три ответа: пять лет лагеря, десять лет лагеря или расстрел (приговоры того времени ужасно однообразны, советские судьи словно из принципа не выдавали других приговоров, чем пять лет, десять лет или смерть, и неясно, чем они при этом руководствовались).

Прежде чем мы бросим камень в тогдашних россиян, вспомним поразительное равнодушие, которое современные поляки проявляют по отношению к разным «старикам вермахта». Ведь кашубы⁸⁸ или силезцы также оказывались перед выбором: служба немцам или смерть.

В любом случае я предполагаю, что в этом, по-видимому, кроется объяснение сенсационного документа, недавно опубликованного Виктором Язневичем, в советских архивах он нашёл написанное, скорее всего, рукой Лема в октябре 1944 года заявление о поступлении в политехнику с обоснованием, что мечтает строить танки для Советского Союза⁸⁹. Сам Язневич интерпретирует это так: вряд ли Лем решил загубить два года трудного обучения на медицинском, скорее всего, хотел иметь какую-то бумагу, которая свидетельствовала бы о его лояльности в случае возможного судебного процесса по делу о его работе в *Rohstofffassung*⁹⁰.

До суда, к счастью, не дошло. Лем возобновил обучение на медицинском. Раздел о военном кошмаре закончим грустным воспоминанием, рассказанным Фиалковскому. Сразу после того, как немцы ушли, во Львове начался «грохот и стук, как в Клондайке». Это новые жители еврейских камениц (также и той, что на Браеровской, 4) разбивали кирками стены подвалов в поисках еврейского золота. Такова голая правда об этом своеобразном виде, который наблюдался «Граммплуссом в самом тёмном закоулке нашей Галактики, – *Monstroteratum Furiosum* (тошняк-полоумник), называющийся *Homo Sapiens*»⁹¹.

⁸⁸ Этническая группа, населяющая часть Поморья.

⁸⁹ Виктор Язневич, *Станислав Лем*, Минск: Книжный дом, 2014.

⁹⁰ Виктор Язневич, разговор от 24.10.2015 в Варшаве.

⁹¹ Цитата из: С. Лем, «Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие восьмое», пер. с польск. К. Душенко.

III

Выход на орбиту

В каком году, собственно, Лемы переехали в Краков? Этот на первый взгляд простой вопрос был на протяжении многих лет предметом очередной лемовской игры подобия правды, которой поддавались даже величайшие специалисты. На протяжении длительного времени, например, на официальной странице *Lem.pl* висела ошибочная информация (1946), которая появилась из дословной трактовки ответов Лема, что приехали они «одним из последних транспортов», потому что отец слишком долго откладывал переезд⁹².

Когда я пишу эти слова, ошибочный год также указан в статье про Лема в польской Википедии. То же самое в российской биографии Лема, написанной Прашкевичем и Борисовым⁹³. Авторы собрали книгу из публичных высказываний Лема и попали в западню. Там вообще не появляется, например, вопрос происхождения Лема, не согласуются некоторые даты, в том числе и дата репатриации.

Обратите внимание на мастерство, с каким Лем умеет и не соврать и правду не сказать. «Одним из последних транспортов» – что это, собственно, означает? Всё является «одним из последних». Это одна из последних страниц этой книги, а вы её читаете в один из последних дней своей жизни. Естественно, перед вами ещё много дней и много страниц. Но с чисто логической точки зрения – я не соврал.

Посмотрим на эти два соседних предложения в разговоре с Бересем: «*Те, кто выехал в 1945 году, могли забрать с собой мебель. Мы, после того как оформили документы в Главном репатриационном управлении, выехали из Львова с мизерным скарбом*». Каждый читающий это непроизвольно заметит тут противопоставление ситуации «нас» (Лемов) и «тех, кто выехал в 1945 году». И поэтому можно подумать, что Лемы выехали в следующем году.

Впрочем, много поляков во Львове задержали выезд по патриотическим причинам. Они надеялись, что если в городе останется польское население, то это будет способствовать будущему возврату Львова. Эта позиция была наивной, потому что для Сталина принудительное выселение десятков тысяч жителей не было проблемой, а в Польшу или в Сибирь, это уже было второстепенным вопросом. Поведение этой группы хорошо описывает в своих мемуарах Ришард Гансинец, который ещё в 1945 году утверждал, что «только евреи перелетали за Сан»⁹⁴. Но в конце и он выехал 11 июня 1946 года, через год после Лемов⁹⁵.

Лемы переехали в Краков летом 1945 года. Я сказал бы, что они уехали одним из первых транспортов. Они опередили большинство известных «институциональных» эшелонов, которыми на Возвращённые территории эвакуировали кадры польских учреждений, таких как театры, учебные заведения или Оссолинеум. Так называемый университетский эшелон отправился, например, во Вроцлав 28 сентября 1945 года. Когда он приехал, Самюэль Лем уже работал в краковском госпитале⁹⁶.

Зачем Станислав Лем петлял в этом безобидном вопросе? Он делал это систематически, поэтому нельзя списать это на счёт обычного недопонимания. Он использовал это даже для дезинформации друзей в личной переписке. Когда в начале семидесятых профессор Владислав Капуцинский, первый самопровозглашённый лемолог⁹⁷, попросил писателя прислать жизне-

⁹² Войцех Земек, разговор от 6.02.2016 в Кракове.

⁹³ Геннадий Прашкевич, Владимир Борисов, *Станислав Лем*, Москва: Молодая гвардия, 2015.

⁹⁴ Сан – река в юго-восточной Польше, приток Вислы.

⁹⁵ Ryszard Gansiniec, *Notatki lwowskie (1944–1946)*, Wrocław: Sudety, 1995.

⁹⁶ Самюэль Лем, рукопись биографии добавлена к заявлению о работе.

⁹⁷ Станислав Лем, письмо к Владиславу Капуцинскому, 28.01.1965.

описание, Лем написал ему, что семья переехала в Краков «в 46»⁹⁸. Мог ли он в таком деле ошибиться? Такие даты запоминаются обычно на всю жизнь.

Лем при использовании очередного шифра что-то хочет спрятать, а что-то говорит между строчками. Постоянным элементом его рассказа на эту тему была обида на отца, что тот не решился на переезд раньше и ждал слишком долго, а в результате этого Лемы утратили почти всё имущество, за исключением кое-каких мелочей, и, что важнее всего для Станислава Лема, немецкую пишущую машинку и «пару книг».

Имущество Лемы потеряли не потому, что долго тянули, а только потому, что были евреями. Немцы конфисковали имущество евреев, доверяя его «поверенным», например Кремину. Единственным шансом на спасение, по крайней мере части имущества, было заключить соглашения с тёмными личностями, такими как герои второго плана в «Среди мёртвых» (Лем смоделировал их из аутентичных гиен, с которыми столкнулся во Львове)⁹⁹.

Очень интересной личностью является некая Мария Хуцько – украинка, которая перед войной была экономкой каменицы «адвоката Гельдблюма». Когда пришли немцы, Гельдблом переписал на неё свой дом в обмен на обещание, что женщина сохранит хотя бы мебель и картины. Лем описывает её довольно язвительно. Хуцько занималась тайно проституцией, хотя у неё не было ноги. Ей все платили, но больше «не возвращались». Язвительность не пощадила и адвоката, который «с облегчением» перебирается в гетто. Всезнающий рассказчик «Среди мёртвых» пишет:

«Гельдблюмы оставили дом, в котором жили восемнадцать лет. Адвокат был даже рад, потому что соседи в последнее время не жалели для него унижений. Он думал, что в гетто евреям будет спокойней. В доме осталась Мария Хуцько».

Гельдблом, безусловно, не является *alter ego* Самюэля Лема, который, очевидно, никогда не надеялся, что «в гетто евреям будет спокойней». Но сам механизм потери имущества работал точно так же – сначала находили того, на кого фиктивно переписывали недвижимость с устным обещанием, что «после войны» как-то всё урегулируется. И чем больше боялся еврей, тем сильнее изменялись предполагаемые условия.

Мария Хуцько – это выдуманный персонаж, хотя взят из реальности, как и большинство героев из «Среди мёртвых». Немного напоминает ту аутентичную особу, описанную двенадцатилетней Хешелес, у которой не было причин играть в какие-то литературные игры. Она пряталась (и попала) вместе с мамой у некой Кордыбовой, которой было «шестьдесят, а она притворялась, что 35, а на мужа говорила, что это её отец».

Можно понять ужас, скрывающийся в неосторожном заявлении, которое Лем сделал Фиалковскому, – после вторжения россиян Лемы уже не могли вернуться в каменицу на Браровской, «потому что там жил уже кто-то другой». Кто? Я этого не знаю, но, наверное, кто-то типа Марии Хуцько, если не Долянца.

Откуда тогда настойчиво возвращающаяся обида на отца, что Лемы не уехали из Львова раньше? Если бы речь шла об обычной репатриации в рамках главного репатриационного управления, отъезд можно было бы ускорить только на месяц. Это не много бы изменило в ситуации Лемов и точно не помогло бы сохранить имущество. Я допускаю, что предложение переезда в Краков появилось раньше – во время немецкой оккупации. Давайте подумаем над важным в этом контексте вопросом: почему именно Краков? Ведь львовян переселяли на Возвращённые территории, обещая им недвижимость немцев.

⁹⁸ Станислав Лем, письмо к Владиславу Капушинскому, 20.08.1973.

⁹⁹ Станислав Лем, письмо к неизвестной исследовательнице литературы от 17.04.1967.

Поезда из Львова шли во Вроцлав через Ополе, Катовицы и Бытом. И там в результате оказывалось большинство репатриантов, хотя условия на этих станциях были ужасными. Поезд теоретически мог ехать во Вроцлав, но, бывало, уже в Бытоме советский персонал говорил репатриантам: выгружайтесь¹⁰⁰.

И они «выгружались», а потом месяцами перебивались на вокзальных руинах. *«Если будет регистрация на выезд в Польшу, не соглашайся. Лучше сиди дома. Те, кто приезжает, сидят на станции два месяца голодные и холодные. Никто о них не беспокоится»*, – писал своей жене летом 1945 года какой-то солдат, процитированный Марцином Зарембой в «Большой тревоге». Неизвестно, что сделала жена, потому что это письмо задержала военная цензура (и потому, собственно, Заремба мог его процитировать).

Лем не рассказывал своим собеседникам про такие неприятности, хотя Бересь пытался из него их выудить. Он вспоминал, что от Пшемысля персонал поезда был уже «точно польским» (хотя неизвестно, откуда он может это знать, если на протяжении всего путешествия не видел этот персонал в глаза – в этом вопросе уверенность Лема разминулась с мнением историков).

Почему горемыки, перебивающиеся на вокзале в Бытоме, не сделали то же, что и Лемы, – не вышли раньше в Кракове? Потому что надеялись на немецкие квартиры, на которые не могли рассчитывать в перенаселённом Кракове. В то же время Лемов уже ждал дом на улице Силезской, 3.

Откуда взялась эта квартира? Лем описывает её как квартиру «мужа нашей подруги» (Фиалковскому), «пани Оли¹⁰¹ – бывшей «белой» русской, нашей близкой подруги. По-польски говорила с русским акцентом», а Лемы встретили её в поезде (Бересь). Я предполагаю, что было всё наоборот: эта пани Оля была «женой их друга», а конкретно – друга Самюэля Лема.

Вот поэтому в этой истории снова появляется семья Колодзеев, о которой я писал в предыдущем разделе. Эта пани Ольга, вероятно, была арийской пассажиркой дрожек, когда они спасали Лемов с улицы Бернштайна. Знакомство Лемов с Колодзееми произошло раньше, чем обе мировые войны, как мне это описывал Витольд Колодзей. Его дед Кароль родом из городка Стрый под Львовом. Он был ларингологом так же, как и Самюэль Лем, и так же, как и он, попал в русский плен после капитуляции Пшемысля.

Судьба Кароля Колодзеев сложилась иначе. Если Самюэль Лем оставил во Львове невесту и после революции сразу же отправился через всю страну, охваченную гражданской войной, чтобы жениться на ней, – то Колодзей влюбился в россиянку, именно в пани Олю. Он осел в Орске и отложил возвращение в страну. Между Орском и Львовом пролёг польско-большевистский фронт, поэтому он вернулся (вместе с женой) лишь в 1922 году.

Лемы и Колодзеев подружились во Львове. Глав обеих семей объединяло общее военное прошлое и страсть к бриджу и другим карточным играм. Колодзеев принадлежали¹⁰² к кругу знакомых, с которыми родители Лема ездили в воскресенье «за город – платили пошлину за шлагбаум», чтобы «за шлагбаумом в направлении Стрыя, при Стрыйском шоссе» остановиться в саду «ресторации пана Руцкого», чтобы «резать в картишки»¹⁰³.

Мечислав Колодзей (сын Кароля, отец Витольда) был ненамного старше Станислава Лема. Небольшой разницы в возрасте хватило, чтобы их военные судьбы оказались совершенно разными. В 1938 году его зачислили в военное училище. Он должен был вернуться летом 1939 года, но ввиду надвигающейся войны отменили все увольнения.

¹⁰⁰ Marcin Zaremba, *Wielka trwoga. Polska 1944–1947*, Kraków: Znak, 2012.

¹⁰¹ В интервью Лем называет её «пани Оля»; Витольд Колодзей (разговор от 5.02.2016 в Кракове) уточняет, что это сокращение от Ольги.

¹⁰² Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

¹⁰³ Stanisław Lem, *Zapach minionego*, w: tegoż, *Lube czasy*, Kraków: Znak, 1995.

Пакт Молотова – Риббентропа, хотя для Польши как страны он был драматическим несчастьем, в каком-то смысле спас жизнь Мечиславу. Из подобных ему курсантов резерва поспешно был сформирован отряд, который не имел никакой реальной боевой ценности – на роту солдат приходился один автомат. Если бы немцы оказались с ними на поле боя, то перестреляли бы их, как уток. Однако немцы прекратили наступление, прежде чем подошли к их позициям. После 17 сентября уже стало известно почему. Военному подразделению Мечислава Колодзеев осталось только пересечь венгерскую границу, где их интернировали. В Венгрии он провёл остаток войны¹⁰⁴.

Кароль Колодзей в Краков переселился в начале войны и успел там неплохо устроиться, про что Лем рассказывал Бересю (постоянно избегая имён и фамилий). *«Он стал работать на фабрике конских скребков и каждое воскресенье ходил на скачки. Он вёл достаточно роскошную жизнь. Это он приготовил нам помещение на Силезской, дом 3, квартира 2»*.

Эта квартира, как я думаю, ждала Лемов давно. Военные друзья поддерживали между собой связь. Поэтому это не было случайной встречей Лемов с «пани Ольгой с дочерью» в поезде, а всё наоборот: это давно спланированная с её мужем совместная операция.

Если бы Лемы переехали в Краков раньше, то им не нужно было бы оплачивать разных хозяев львовских конспиративных квартир, типа «семьи Подлуских». Может быть, им удалось бы сохранить больше денег. В чужом городе им не нужно было скрываться – они могли со своими фальшивыми документами спокойно гулять на Плантах, без страха, что их узнает случайный вымогатель.

Моя гипотеза такова, что настойчиво возвращающаяся обида на отца о позднем отъезде связана на самом деле с отказом от предыдущих приглашений Колодзеев. Замечу, что это только гипотеза: когда я её представил Витольду Колодзеев, он сказал, что не может её ни подтвердить, ни опровергнуть. Такое приглашение могло появиться раньше, но мы никогда не узнаем, так ли это было.

В любом случае эта гипотеза объясняет несколько загадок, прежде всего вопрос обиды за «позднюю репатриацию». И не было бы разговоров о том, как много людей неправильно поняли, что Лемы выехали лишь в 1946 году, а только о том, почему не выехали, например, уже в 1941 году. Это бы тоже сразу прояснило причины, по которым Станислав Лем скрывал эту проблему за какой-то странной полуправдой. Честно говоря, это раскрыло бы роль, которую семья Колодзеев сыграла в спасении семьи Лемов.

В конце концов, лишь с недавних пор мы можем в Польше открыто говорить о том, что польские «Праведники народов мира» предпочитают не раскрывать своего героизма. Если бы пани Ольга публично рассказала о своей смелой поездке на дрожках, то могла бы привлечь к своей семье интерес «искателей еврейского золота», о которых Лем с горечью рассказывал Фиалковскому. Ведь тогда сразу бы кто-то подумал: «интересно, сколько ей за это заплатили». А кто-то: «интересно, где она это прячет». А в ПНР, как вспоминает Борис Ланкош в гротескном фильме «Реверс», сокрытие хотя бы одной золотой монеты считалось преступлением.

Придерживаясь этой нумизматической метафоры: всё время в ПНР мы не могли искренне говорить ни об аверсе, ни об реверсе укрывательства евреев – ни о подлости шпионов, ни о благородстве «Праведников». Раньше или позже эти разговоры завёл бы в тупик вопрос о проклятом еврейском золоте.

У меня снова нет сильных аргументов в пользу своей гипотезы. Есть только сильное предчувствие, что обида Лема на отца за поздний переезд должна была иметь какие-то основания, о которых Станислав Лем не хотел говорить публично. А ведь у него не было причин для такой обиды – по сути, все решения Самюэля Лема оказались верными. На каждом этапе этой беспощадной игры, которую евреям навязали немцы, отец выбирал лучшие из возможных стратегий.

¹⁰⁴ Витольд Колодзей, разговор от 5.02.2016 в Кракове.

Он доверял правильным людям, избегая фальшивых надежд. Летом 1941 года недостаточно было иметь деньги и связи, много богатых и влиятельных евреев погибло либо в погромах, либо в последних операциях. Не все взяточники имели эту своеобразную этику, которой руководствовался Кремин, – если ему платили за охрану, то он, по крайней мере, охранял. В конце концов, самым простым сценарием для действительно деморализованного человека было взять деньги с еврея и тут же убить или сдать его. И, к сожалению, таких людей хватало.

В здравом рассудке Станислав Лем должен был восхищаться решениями отца. Я, например, восхищаюсь, воссоздавая их спустя много лет. И он мог бы это восхищение высказать Бересю или Фиалковскому, как-то по-своему кружить в полуправде, не касаясь еврейской проблемы. Вместо этого мы слышим жалобы, что отец слишком долго ждал. Как это объяснить? Возможно, на это накладывается другая семейная ссора. Лем ещё раньше повторял, что ему не нравится медицина. Он выбрал её из-за настояний отца (который сам стал врачом под напором своей семьи). А Гитлер и Сталин как-то сговорились, чтобы Львов захватить летом, из-за чего Лему не удалось избежать ни одной экзаменационной сессии.

Отъезд из Львова удалось бы ускорить на месяц или два, но это означало бы для Лема пропуск летней сессии. Как он вспоминал Фиалковскому, она была исключительно сложной, потому что по какой-то неизвестной причине украинские преподаватели намеренно хотели «завалить» его.

Будучи амбициозным студентом, Лем не мог такого допустить, поэтому эта сессия стала для него вызовом. Преподаватель химии, некий доцент Собчук, так долго спрашивал Лема, пока не нашёл какой-то пробел в его знаниях и с удовольствием поставил ему четвёрку вместо пятёрки, несмотря на то что он выучил «толстый учебник органической химии Абдергальдена почти наизусть». Однако он не помнил что-то про «вещества, вырабатываемые в мозгу определённого вида китов».

В тот самый период Лем написал работу «Теория функции мозга». Я держал в руках эту рукопись и, честно говоря, ужаснулся. Работа выглядела как псевдонаучный трактат самозваного гения, который хотел написать научный текст, но имел только призрачное понятие о том, как такая работа должна выглядеть. Например, он знал, что в работе должен появляться график от времени какой-то график, поэтому украшал свои выводы кривыми, в которых неизвестно было, что на какой оси находится.

После прибытия в Краков Лем продолжил изучать медицину, только искал какого-то настоящего учёного, который оценил бы его гениальную работу. Так он попал к доктору Мечиславу Хойновскому (1909–2001), что было для нас чрезвычайно удачным стечением обстоятельств.

Лем описывает Хойновского как человека компульсивного, который всегда говорил всю правду в лоб, incapable или просто не желающий ходить вокруг да около условностей, – «правдолюб», как Лем лаконично это обозначил. Доктор оценил «Теорию функции мозга» как полную чушь, но, видя запал и образованность двадцатидвухлетнего студента, пригласил его сотрудничать в возглавляемых им науковедческих лекториях, в рамках которых молодые ассистенты Ягеллонского университета навёрстывали отсталость от мировой науки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.